



м и к р о и с т о р и я

# ка зуз

индивидуальное  
и уникальное  
в истории.  
антология

Интеллектуальная история / Микроистория

Коллектив авторов

**Казус. Индивидуальное и  
уникальное в истории. Антология**

«НЛО»

2022

УДК 930  
ББК 63.0

### **Коллектив авторов**

Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Антология /  
Коллектив авторов — «НЛО», 2022 — (Интеллектуальная  
история / Микроистория)

ISBN 978-5-4448-2040-7

Микроистория ставит задачей истолковать поведение человека в обстоятельствах, диктуемых властью. Ее цель — увидеть в нем актора, способного повлиять на ход событий и осознающего свою причастность к ним. Тем самым это направление исторической науки противостоит интеллектуальной традиции, в которой индивид понимается как часть некоей «народной массы», как пассивный объект, а не субъект исторического процесса. Альманах «Казус», основанный в 1996 году блистательным историком-медиевистом Юрием Львовичем Бессмертным и вызвавший огромный интерес в научном сообществе, был первой и долгое время оставался единственной площадкой для развития микроистории в России. Первая часть настоящей антологии знакомит читателя с текстами по теории, давшими импульс «казусному» направлению в современной отечественной историографии, а вторая часть — с напечатанными в первых пяти номерах альманаха исследованиями. Эти работы помогают проследить, как применяются и развиваются методологические принципы, сформулированные Ю. Л. Бессмертным и другими авторами «Казуса». Книга положит начало новому проекту издательства «НЛО», посвященному микроисторическим исследованиям.

УДК 930  
ББК 63.0

ISBN 978-5-4448-2040-7

© Коллектив авторов, 2022

© НЛО, 2022

## Содержание

О. Е. Кошелева	6
Е. В. Акельев, М. Б. Велижев	12
О. Ю. Бессмертная	17
Часть 1	30
Ю. Л. Бессмертный	30
М. А. Бойцов	42
П. Ю. Уваров	58
Ю. Л. Бессмертный	72
Часть 2	79
Н. Ф. Усков	79
Конец ознакомительного фрагмента.	80

# Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Антология

О. Е. Кошелева

## «Микроистория»: несколько слов к читателю новой книжной серии

Молодой историк Михаил Николаевич Покровский (1868–1932) в октябре 1895 г. впервые читал лекцию слушательницам Высших женских курсов. Темой он избрал «Киево-Печерский патерик» – сборник житийных рассказов о монахах киевского монастыря XI–XIII вв. Выбор был не случаен – это единственный русский памятник столь ранней эпохи, из которого можно было узнать о жизни людей того времени – с удивительным количеством бытовых подробностей в сочетании, однако, с «религиозной фантастикой» («чертями и ангелами»). Курсистки слушали с интересом, тем не менее Михаил Николаевич остался собою недоволен: он говорил «не то, что нужно». Политическая сознательность и уже начавшееся увлечение марксизмом подсказывали ему, что необходимо иное – рассказ о закономерностях исторического развития, о причинно-следственных связях, которые помогут понять его слушательницам происходящее сегодня в стране и обществе<sup>1</sup>. С этих пор Покровский посвятил себя именно такой истории, став ведущим историком-марксистом в Стране Советов.

Этот случай иллюстрирует банальную истину о том, что история, преподносимая читателям историками-профессионалами, бывает разной, зачастую она не совпадает с ожиданиями ее «потребителей», не вписывается в их представления об устаревшем и новаторском. Поэтому, открывая новую серию книг под названием «Микроистория», читателя необходимо прежде всего ввести в курс дела: здесь будут публиковаться отечественные и зарубежные исторические труды, которые придется по сердцу любителям прошлого как такового, с его вкусами и запахами, предрассудками и пристрастиями, радостями и страданиями, то есть со всем тем, чем в полной мере обладает художественная литература, но о чем, как правило, умалчивают исторические сочинения.

Свойство прошлого – всегда оставаться загадочным, ведь его уже нет, и потому его невозможно увидеть отчетливо, исследователям приходится до крайней степени напрягать зрение, прибегать к увеличительным стеклам, чтобы рассмотреть его детали, различные мелкие события и ничем не примечательных людей, случайно попавших в объектив. Они интересны не сами по себе, они – незначительные следы, по которым возможно увидеть ход событий, наподобие того, как это блестяще проделывал сыщик Шерлок Холмс, чтобы раскрыть очередное таинственное происшествие<sup>2</sup>. Именно о такой «уликовой парадигме», сходной с криминальным расследованием, к которой прибегают в своих штудиях историки, писал один из основателей микроисторического направления Карло Гинзбург<sup>3</sup>. Однако микроисторик соединяет в себе не только «Шерлока Холмса», но и «доктора Ватсона», умевшего интересно *описать* историю. Безусловная сильная сторона микроисторических исследований – это хороший рассказ. Читатель как бы приглашается следовать за авторами в проводимом ими «дознании»: исследо-

---

<sup>1</sup> Чернобаев А. А. «Профессор с пикой», или Три жизни историка М. Н. Покровского. М., 1992. С. 12.

<sup>2</sup> Аналогия микроисторических подходов с методом расследований Шерлока Холмса особенно подчеркнута в: Muir E. Introduction: Observing Trifles // Microhistory and the Lost Peoples of Europe. Selections from Quaderni Storici / Ed. by E. Muir and G. Ruggiero. Baltimore; L., 1984. P. 7–8.

<sup>3</sup> Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. Сб. статей. М., 2004. С. 189–241.

ватели открыто рассказывают ему о своих мыслительных процедурах, сомнениях, колебаниях, эвристических находках.

Что же дает нам сегодня такое расследование? Интересно ли оно без отношения к настоящему? Для кого-то – да, а для кого-то – нет. Но связь с нашим временем, хотя и не обязательно четко проявленная, есть всегда. К примеру, часто можно услышать мнение о том, что люди во все времена остаются одинаковыми в своих надеждах, мыслях, эмоциях, поведении: они не меняются. Так ли это? В микроисторических исследованиях близкая встреча с людьми прошлого дает богатую пищу для размышлений над этим вопросом. Так, жизнь, раздумья, поступки деревенского мельника Меноккио, жившего во Фриули на северо-востоке Италии в XVI в., оказались в центре внимания одного из самых известных произведений в области микроистории – книги «Сыр и черви» Карло Гинзбурга<sup>4</sup>. Ему удалось благодаря сохранившимся документам инквизиции произвести анализ каждого слова, так или иначе произнесенного Меноккио, многое узнать об этом человеке, в то время как от других «народных» религиозных мыслителей не сохранилось почти ничего. История Меноккио – феномен, получивший название «нормальное исключение» (или «исключительное нормальное», англ. *ordinary exception*, фр. *exceptionnel normal*, итал. *eccezionale normale*). Его определение как явления, сочетающего в себе как типичные, так и нетипичные черты, было впервые сформулировано итальянским историком Эдоардо Гренди<sup>5</sup>. Именно таким и был Меноккио: с одной стороны, совершенно обычным крестьянином-мельником, с другой – необычным для представителя своего социального слоя философом-примитивистом, пошедшим на казнь за свои убеждения, не уступив в мужестве Джордано Бруно.

Возможно, читатель, заглянув в Википедию, решит, что «микроистория» – это рассказ о маленьком человеке или о небольшом происшествии. Это не так. Микроистория может поставить в центр внимания любую сферу жизни прошлого: экономическую, политическую, социальную, культурную, военную, образовательную и многие другие. Но при этом оптика исследования окажется специфическим образом «смещенной»: выбранный сюжет будет взят «крупным планом» – чтобы рассмотреть все его «мелочи» и «детали» (такой процесс исследования называется «плотное описание», от англ. *thick description*), которые дадут о предмете новое, иногда совершенно неожиданное знание. Оно либо дополнит существующее «общее положение», либо войдет с ним в противоречие.

Возьмем, к примеру, монографию немецкого историка Ханса Медика<sup>6</sup>. Она была написана в связи с проектом по изучению процесса индустриализации в Германии. Какие сельские и городские общины сумели выжить при наступлении на них капитализма? Сам Х. Медик характеризовал свое исследование как «проблемно ориентированную „историю целого в подробностях“»<sup>7</sup>. Он начал изучать жизнь ткацкого сельского местечка Лайхинген в Швабии с XVII по XIX в. во всех ее деталях: состав населения, отношения между людьми, процедуры наследования, кулинарные пристрастия, мода, круг чтения, нравственные ориентиры и верования и т. д. Статистические данные сочетались с историями жизни конкретных жителей селения. В результате выяснилось, что для лайхингенцев главной ценностью и опорой для выживания были протестантская этика и культ трудолюбия, но при этом происходило постоянное наследственное дробление мелкой собственности, разрушавшей их благосостояние. «Пиетистская набожность, швабское трудолюбие и привязанность к мелкой собственности образовали характерный син-

<sup>4</sup> Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000.

<sup>5</sup> Grendi E. Micro-analisi e storia sociale // Quaderni storici. 1977. Vol. 12. № 35. P. 512; Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1996 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 1. М., 1997. С. 291–302.

<sup>6</sup> Medick H. Weben und Überleben in Laichingen: 1650–1900: Lokalgeschichte als Allgemeine Geschichte (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Bd. 126). Göttingen, 1997.

<sup>7</sup> Медик Х. Микроистория // Thesis. 1994. Вып. 4. С. 197.

тез, наложивший глубокий отпечаток на местный образ жизни», заключал немецкий исследователь<sup>8</sup>. Казалось бы, ярко выраженный протестантизм местных жителей должен был подтвердить общепринятое суждение Макса Вебера о том, что он порождает «дух капитализма», являлся его основой. Однако случай селения Лайхинген оказался также «нормальным исключением»: здесь «вариант протестантской этики во всяком случае не только не способствовал утверждению „духа капитализма“, но и вплоть до конца XIX в. препятствовал укреплению капиталистических структур с их столь высоко развитым ремесленным производством»<sup>9</sup>. Это случилось из-за нацеленности местных жителей не на коммерческий успех в жизни, о котором писал Вебер, но только на выживание из последних сил. В результате автор приходил к следующим размышлениям: «В длительные и многослойные периоды перехода к современности не являлись ли исключения скорее правилами и не должна ли в связи с этим гипотеза о единообразном или даже едином историческом процессе модернизации быть последовательно демонтирована, а затем постепенно вновь реконструирована?»<sup>10</sup>

Книга Ханса Медика – не единственная в изучении жизни различных поселений в рамках микроисторического подхода, его продолжили другие ученые<sup>11</sup>.

К настоящему времени это направление исследований собрало немалый «золотой фонд» работ, ставших классическими и высоко оцененными читателями. В целом они получили два разных вектора развития: культурный и социальный<sup>12</sup>. Здесь невозможно дать даже самый краткий их обзор<sup>13</sup>, но позволительно ограничиться теми единичными их упоминаниями, без которых совсем обойтись нельзя. Ведь в разных странах микроистория развивалась своим особым путем и никогда не представляла собой единого направления. Более того – в большом споре о том, могут ли микроисторические штудии вносить свой вклад в «глобальную» историю или нет, одни исследователи считают, что, безусловно, да, другие – что, без сомнения, нет, поскольку это совершенно разные подходы к прошлому, которые не должны мешать друг другу<sup>14</sup>; достаточно распространено и мнение о том, что макро- и микроподходы суть взаимодополнительны<sup>15</sup>. Так, Н. Е. Копосов в принципе отрицал саму возможность существования микроистории<sup>16</sup>, хотя в дальнейшем назвал ее основой «новой парадигмы» (или, вслед за французскими историками, «прагматическим поворотом») исторических исследований<sup>17</sup>. Отсутствие у микроистории какой-либо общей концептуальной базы и наличие разных аналитических подходов отличают ее от более монолитной макроистории и делают непродуктивной для тех читателей, кто мыслит исключительно глобальными категориями. Существует немало исследователей, равно как и читателей, философского склада ума, им важны рассуждения

<sup>8</sup> Там же. С. 198.

<sup>9</sup> Там же. С. 199.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> *Sabean D.* Property, Production and Family in Neckarhausen 1700 to 1870. Cambridge, 1990; *Schlumbohm J.* Lebensläufe, Familien, Höfe: die Bauern und Heuerleute des Osnabrückischen Kirschspiels Belm in proto-industrieller Zeit, 1650–1860. Göttingen, 1994. S. 20; Прошлое – крупным планом. Современные исследования по микроистории / Под ред. М. М. Крома. СПб., 2003, и др.

<sup>12</sup> *Черутти С.* Микроистория: социальные отношения против культурных моделей // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2005 / Под ред. М. А. Бойцова и И. Н. Данилевского. М., 2006. Вып. 7. С. 354–375.

<sup>13</sup> Таковые обзоры существуют, и к ним может обратиться заинтересованный читатель: *Кром М. М.* Историческая антропология: Учебное пособие. СПб.: М., 2010; *Magnússon S., Szijártó I.* What Is Microhistory? Theory and Practice. L.; N. Y., 2013.

<sup>14</sup> *Magnússon S., Szijártó I.* What Is Microhistory? P. 10–11. См. также: *Сиарто И.* Бог в деталях. Четыре аргумента в защиту микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2017 / Под ред. О. И. Тогоевой и И. Н. Данилевского. Вып. 12. М., 2017. С. 301–307; *Магнуссон С.* Войти в одну реку дважды // Там же. С. 308–322.

<sup>15</sup> *Бессмертный Ю. Л.* Проблема интеграции микро- и макроподходов // Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1999. С. 297–298. См. с. 137–150 этой книги.

<sup>16</sup> *Копосов Н. Е.* О невозможности микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2000 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 3. М., 2000. С. 33–51.

<sup>17</sup> *Копосов Н. Е.* Как думают историки. М., 2001. С. 45.



высокой абстракции – процессы, закономерности, структуры человеческого общества и т. д., житейские мелочи их совершенно не интересуют. Это серьезные оппоненты микроистории, обнаруживающие в ней многие «методологические изъяны»<sup>18</sup>.

Тем не менее нельзя не отметить, что историческое познание может быть разным. Оно совсем не обязано иметь концептуализированную форму, хотя мы не можем отказать микроистории в полном отсутствии концептуальности. Микроисторическое исследование в значительной степени концентрируется на *качественном* описании реалий и событий прошлого и на их авторском, профессиональном интерпретировании. Такое знание не столько *объясняет* прошлое, сколько *рассказывает* о нем, демонстрирует его в подробностях, расширяя и уточняя представления читателя. Историописание как раз и призвано через показ «прошлого» и его интерпретацию давать читателю понимание «иного», «чужого», научить критическому осмыслению собственного времени, которое так скоро тоже превратится в «прошлое».

Несмотря на ярко выраженный авторский почерк микроисторических книг и их тематическое разнообразие, они имеют легко узнаваемые общие черты: «плотно»<sup>19</sup> описанная неординарная ситуация, в которой действуют реально существовавшие в истории персонажи. Обычно (но не всегда!)<sup>20</sup> это простые, ничем не примечательные люди. В микроистории их часто именуют «актерами» (от англ. глагола *to act*), поскольку они интересны не просто реконструированной биографией, а тем, как они *действуют*, какие жизненные стратегии используют для собственного успеха или, что чаще, для выживания, характеризуя тем самым общество своего времени<sup>21</sup>. «Простые люди» живут обыденной жизнью, в которую, однако, постоянно вторгается власть и указывает, что им следует делать и как думать. Не выступая против нее открыто, «маленький человек» ищет, как ему выгоднее поступать в диктуемых сильными мира сего обстоятельствах<sup>22</sup>. Микроисторические исследования раскрывают повседневную сторону исполнения этих условий, со всеми трудностями, трагедиями, уловками и успехами «маленького человека» перед лицом бюрократической машины, поэтому такие исследования часто называют «историей снизу» (*history from the bottom*).

Зачем она нужна и кому интересна, эта история обывателей? Под пером микроисторика такие люди превращаются из пассивного объекта истории (какими всегда оставались «народные массы») в ее субъекта, в «актеров», оказывающих влияние на ход событий своими совершенно обыденными действиями и принимающими собственные решения по поводу властных директив, проявляя таким образом «своенравное упрямство» (*Eigensinn* или *Eigen-Sinn*), по выражению Альфа Людтке<sup>23</sup>.

Поясню свою мысль на одном примере. Если бы люди, высланные из родных мест властью Петра Великого на строительство новой столицы, безропотно повиновались его малокомпетентным указам, а не приспосабливались самостоятельно к условиям, осложненным как при-

<sup>18</sup> Об этом см.: Кром М. М. Историческая антропология. С. 98–103, 111–113; Magnússon S., Szijártó I. What Is Microhistory? P. 119–133.

<sup>19</sup> Понятие «плотного», или «насыщенного», описания (*thick description*) было введено Клиффордом Гирцем: Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 9–42.

<sup>20</sup> Например: Ferrone V., Firpo M. From Inquisitors to Microhistorians: A Critique of Pietro Redondi's *Galileo eretico* // The Journal of Modern History. 1986. Vol. 58. № 2. P. 485–524; Гинзбург К. Загадка Пьеро: Пьеро делла Франческа. М., 2019, и др.

<sup>21</sup> Как пишет Н. Е. Копосов, новый поворот середины 1990-х гг. в изучении истории основан именно на таком «субъектном» «опыте микроисследований»: «В центре новой парадигмы находится возвращение субъекта, иными словами, акцент на сознательных, субъективных аспектах социального действия, противоположный характерному для „функционалистских парадигм“ (таких, как марксизм, структурализм или психоанализ) поиску надличностных, объективных факторов, детерминирующих развитие общества» (Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 45).

<sup>22</sup> Scott J. C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, 1985. P. XVI. Русский перевод: Скотт Дж. Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. 1996. С. 55.

<sup>23</sup> Людтке А. Рабочие, Eigensinn и политика на германских предприятиях в 1880-е – 1914 годы // История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М., 2010. С. 84–130.

родными тяготами, так и самим правительством, мы бы никогда не увидели блистательный Санкт-Петербург<sup>24</sup>. Эта сторона микроистории, безусловно, значима, поскольку она демонстрирует *включенность* каждого обычного человека в то, что происходит вокруг него, и его конкретную ответственность, а это мало кем осознается. По словам венгерского микроисторика Иштвана Сиарто, «когда вместо того, чтобы описывать карающие системы, которые калечат и убивают людей, микроисторик направляет свое внимание на то, как люди создают, поддерживают, подтачивают и в конечном счете разрушают системы, они раскрывают особое значение людских действий и ответственности за них и, таким образом, призывают ответственно относиться к будущему»<sup>25</sup> (перевод мой. – О. К.). И прекрасные достижения человечества, и его самые позорные страницы, такие, например, как инквизиция, фашизм или сталинизм, рассматриваются не только через вождей и лидеров, как это принято в традиционной «глобальной» истории, но и через деятельность и сознание «маленьких людей».

В последние годы подходы микроистории, которая прочно заняла свое место среди других методов познания прошлого, стали для многих исследователей «общим местом», они используют их без всяких отсылок к источнику. Множество подобных работ в настоящее время появилось не только в области изучения Средневековья и Нового времени, но и применительно к Новейшей истории<sup>26</sup>. Именно исследования «снизу» жизни в предвоенной Германии показали процессы зарождения нацизма не в верхах, а в низах общества<sup>27</sup>. «Под микроскопом» изучается и советское общество различных периодов<sup>28</sup>, особенно его малые социальные группы, например зарубежные специалисты, работавшие на московском Электrozаводе<sup>29</sup>, или одна, но особого уровня школа в Москве<sup>30</sup> и – в порядке сравнения – одна обычная в Кирове<sup>31</sup>. Микроистория придала определенный импульс плодотворному направлению «истории субъективности» советского периода, построенному в основном на письмах и дневниковых записях простых людей<sup>32</sup>. С. В. Журавлев обращает внимание на огромный потенциал источников советского времени, которые до недавнего времени относились к «третьесортным», но при микроисторическом подходе стали, напротив, первосортными<sup>33</sup>.

В России микроисторические исследования разных иностранных авторов издаются давно, имена Карло Гинзбурга, Натали Земон Дэвис, Роберта Дарнтон и других хорошо известны отечественному читателю. В Италии в 1981–1991 гг. в издательстве «Эйнауди» выходила книжная серия «Microstorie», которая послужила своеобразной «рабочей площадкой» для итальянских микроисториков. В России подобную роль сыграли альманахи «Казус», основанный Ю. Л. Бессмертным. Этот опыт вряд ли сегодня возможно повторить, но от него невозможно и отказаться. Серия «Микроистория» издательства «Новое литературное обозрение» позволит сконцентрировать в едином русле работы данного направления и дать возможность его почитателям следить за новинками в этой области. Книги серии познакомят читателей со

<sup>24</sup> Подробнее: Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова петровского времени. М., 2004.

<sup>25</sup> Magnússon S., Szijártó I. What Is Microhistory? P. 69.

<sup>26</sup> См.: Журавлев С. В. Микроистория: заметки о современном состоянии // Человек на поворотах XX века. Краснодар, 2006. С. 60–83.

<sup>27</sup> Людтке А. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М., 2010; Browning C. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. N. Y., 1992.

<sup>28</sup> Лебина Н. Б. О пользе игры в бисер. Микроистория как метод изучения норм и аномалий советской повседневности 20–30-х годов // Нормы и ценности повседневной жизни: становление социалистического образа жизни в России, 1920–1930-е годы / Под ред. Т. Вихвайнена. СПб., 2000. С. 9–26.

<sup>29</sup> Журавлев С. В. «Маленькие люди» и «Большая история»: иностранцы московского Электrozавода в московском обществе в 20–30-х годах. М., 2000.

<sup>30</sup> Holmes E. L. Stalin's School: Moscow's Model School No. 25 (1931–1937). Pittsburg, 1999.

<sup>31</sup> Holmes E. L. Kirov's School No. 9: Power, Privilege, and Excellence in the Provinces, 1933–1945. Kirov, 2008.

<sup>32</sup> Например: Хелльбек Й. Революция от первого лица. Дневники сталинской эпохи. М., 2021.

<sup>33</sup> Журавлев С. В. Микроистория: заметки о современном состоянии. С. 72–79.

свежими микроисторическими исследованиями отечественных авторов, а также при помощи переводов дадут новую жизнь в русскоязычной среде иностранным классическим произведениям.

## Е. В. Акельев, М. Б. Велижев И снова «Казус»?

Новая книжная серия «Микроистория» не случайно открывается публикацией антологии, посвященной «Казусу». Основанный Юрием Львовичем Бессмертным в 1996 г., альманах об индивидуальном и уникальном в истории стал первой и долгое время оставался единственной «площадкой» для развития микроистории в России. Теперь, после выхода в 2020 г. последнего, пятнадцатого выпуска «Казуса»<sup>34</sup>, настало время обобщить и осмыслить полученный опыт. С этого и стоит начинать новый виток научной беседы о судьбах и перспективах микроистории в России, чему, мы надеемся, и послужит книжная серия издательства «Новое литературное обозрение». Однако наш интерес к «Казусу» имеет не историографический и уж тем более не «антикварный» характер. Мы убеждены, что исследовательская программа, предложенная основателем и авторами альманаха, далеко не исчерпала своего потенциала. Более того, может быть, именно сегодня она как раз особенно актуальна. Читатель сможет сам составить о ней полное представление, обратившись к включенным в первый раздел нашей антологии программным статьям Ю. Л. Бессмертного, а также предисловию к ним, написанному его дочерью, историком О. Ю. Бессмертной, тщательно воссоздавшей академический и интеллектуальный контекст их появления на свет. Для нас же как составителей важно обратить внимание на основополагающие принципы исследовательской программы создателя альманаха, которые имели важное значение при отборе «казусных» статей, составивших этот сборник.

Здесь, однако, стоит оговориться. Мы отдаем себе отчет в том, что концепция «Казуса» на протяжении 25-летнего существования не оставалась неизменной. Так, М. А. Бойцов и О. И. Тогоева в статье 2007 г., посвященной подведению итогов 10-летнего развития российского альманаха о микроистории, указывали на пятый выпуск как на рубежный: «Очевидно, что наша нынешняя трактовка „казуса“ сильно изменилась по сравнению с первоначальной, как изменилось и многое другое в содержании альманаха, начиная с пятого его выпуска. Этот рубеж был задан кончиной Ю. Л. Бессмертного, которая привела к переменам в составе редакции». В другом месте редакторы «Казуса», характеризуя изменение «контента» альманаха, отмечали:

Тема индивида и его девиантного поведения, весьма отчетливая в первых выпусках, теперь, похоже, ушла в тень, в то время как немного больше внимания стало уделяться всевозможным ритуалам, судебным процедурам, знакам власти, пророчествам и вообще экзотическим «странным». Посмотрим, окажутся ли такие предпочтения временным этапом или же устойчивой тенденцией в эволюции «Казуса», но страницы альманаха, естественно, не закрыты и для совершенно иных сюжетов – они и сейчас присутствуют в немалом числе<sup>35</sup>.

Альманах продолжал развиваться и в последующие годы, когда им руководили О. И. Тогоева и И. Н. Данилевский. В этой связи мы обязаны предупредить читателя, что в рамках настоящей антологии составители сосредоточились именно *на первом этапе* развития «Казуса». При этом мы надеемся, что в скором времени появится еще один ее выпуск, посвященный следующим этапам эволюции альманаха.

---

<sup>34</sup> Тогоева О. И., Данилевский И. Н. Прощание с микроисторией? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2020 / Под ред. О. И. Тогоевой и И. Н. Данилевского. Вып. 15. М., 2020. С. 386–396.

<sup>35</sup> Бойцов М. А., Тогоева О. И. Дело «Казуса» // Средние века. Вып. 68 (4). М., 2007. С. 158–159.

В первой программной статье Ю. Л. Бессмертный пояснял, что из всей богатой смысловой палитры понятия «казус» редакторы обратили внимание прежде всего на следующие значения: «случай», «происшествие», «событие». Иными словами, данный подход предполагал в первую очередь осознанное наведение исследовательского фокуса на какой-то конкретный случай, происшествие или событие прошлого с целью его детального всестороннего изучения и как возможно более подробного и «насыщенного» его описания. Но «казусы» бывают разные: «случай исключительный, неожиданный или же случай банальный, ординарный; случай как конфуз и случай как образец и т. п.» (с. 54 в этой книге). Из всех возможных «казусов» прошлого наибольшую ценность в рамках интересующей нас исследовательской программы представляют именно случаи *уникальные, исключительные и неожиданные* – как для исследователей, так и для самих современников<sup>36</sup>. Почему?

Ю. Л. Бессмертный противопоставлял предложенный подход историографической традиции изучения сериальных данных с целью выявления «больших социальных структур, долговременных процессов, глобальных закономерностей», так же как и истории ментальности, игнорировавшей изучение индивидуального и конкретных социальных практик (с. 57 в этой книге). Анализ «типичных казусов» оставляет исследователя на той же самой почве сериальной истории, позволяя лишь получить *отдельные примеры* заранее известных всеобщих структур и «больших» процессов. Следует отметить, что отличить типичный казус от уникального может только большой знаток того или иного периода истории, ибо зачастую то, что нам сегодня кажется удивительным, для иных времен было типичным, и наоборот. Поэтому найти уникальный казус в прошлом – редкая удача для исследователя.

Намеренное фокусирование на «нестандартных казусах» открыло перед историками совершенно особую перспективу. «Сверхзадачей» (а вместе с этим и отличительной особенностью) предлагаемого подхода Ю. Л. Бессмертный считал «осмысление возможностей», доступных рядовым акторам в различных социокультурных пространствах. Отвечая на вопросы участников дискуссии (состоявшейся 23 сентября 1996 г.) вокруг нового альманаха и его исследовательской программы, Ю. Л. Бессмертный пояснял:

Соглашусь, что индивидуальное поведение может изучаться и через анализ случаев, в которых человек выбирает между разными вариантами принятых норм. Но наиболее показательны все-таки казусы, в которых персонаж избирает вовсе не апробировавшийся до сих пор вариант поведения. Это может быть поведение, пренебрегающее нормами или, наоборот, абсолютизирующее их (и потому шокирующее окружающих попыткой воплотить недостижимые для большинства идеалы). В таких случаях виднее, что может человек данной группы в данное время и в данной конкретной ситуации; этот тип казусов показательнее для решения нашей сверхзадачи – осмысления возможностей отдельного человека на разных этапах исторического прошлого.

<...> приобретает особую актуальность и проблема роли отдельного человека в разные периоды прошлого. В каких пределах обладал он свободой воли, насколько мог противостоять групповым стереотипам и общему «ходу

---

<sup>36</sup> Примечательно, что в статье «Многоликая история» Ю. Л. Бессмертный использовал выражение «незапрограммированная ситуация» и понятие «казус» (без кавычек) как синонимичные: «процессы исторического развития выступают как отличающиеся дискретностью, прерывностью, облегчающими появление „незапрограммированных“ ситуаций и казусов» (курсив наш. – Е. А., М. В.). Подводя итоги десятилетия развития «Казуса», М. А. Бойцов и О. И. Тогоева отмечали, что изначально «в основе концепции альманаха <...> лежала прежде всего идея „индивида“, выпадающего из единого ряда „конформистов“, способного в той или иной мере противостоять нивелирующему воздействию общих норм (пускай не на политическом уровне, а „всего лишь“ в сфере „частной жизни“), создавая новые модели поведения и тем самым способствуя изменению общих норм, а в конечном счете и социума в целом» (Бойцов М. А., Тогоева О. И. Дело «Казуса». С. 150).

вещей»? Исследование этих аспектов я уже называл нашей сверхзадачей. Стремление наметить подступы к ее анализу придает своеобразие всем нашим общим и частным этюдам. Оно же определяет их отличие от казуальных исследований других историков, как отечественных, так и зарубежных.

<...> главное, что мы стремимся конкретно изучить, это как в разные времена индивидуальный опыт взаимодействовал с принятыми стереотипами. Эта особенность нашего подхода хотя и не «уникальна», но, на мой взгляд, достаточно существенна<sup>37</sup>.

Впрочем, Ю. Л. Бессмертный вовсе не ограничивал альманах лишь теми «казусами», которые позволяют приблизиться к разрешению обозначенных выше проблем. Не менее ценными ему представлялись и те «незапрограммированные ситуации», которые позволяют историку выявить черты «культурной уникальности» обществ далекого прошлого:

В подобных случаях открывается самое заветное в прошлом, а средостение, извечно отделяющее историка от изучаемых им героев, становится наименее непрозрачным. И даже если исследователю открываются при этом всего лишь один-два субъекта из отдаленного прошлого, осмысление их образов дает колоссально много для понимания всего их мира. Это как телескоп, позволивший рассмотреть пусть лишь одно живое существо на далекой планете. Конечно же, на той планете могут быть и совсем другие «гуманоиды». Но даже рассмотрев лишь одного из них, мы уже совершили бы гигантский прорыв в познании другой жизни (включая, между прочим, и познание ее производственной стороны).

Объясняется это тем, что стержнем любого сообщества одухотворенных существ выступает его культурная уникальность. *Именно ее важно постичь как в мирах иных, так и в каждой из эпох прошлого.* Поэтому одна из важнейших задач исторического познания – в том, чтобы осмыслить конституирующие элементы культурного универсума прошлого, включая, естественно, в первую очередь своеобразие восприятия и поведения людей и их психофизические, ментальные, когнитивные и иные особенности. Если казуальный анализ позволяет сделать это по отношению хотя бы к отдельным людям той или иной эпохи, он уже оправдывает себя и может считаться одним из перспективных инструментов историка<sup>38</sup>.

Теперь, когда почти четверть XXI в. позади и мы можем увидеть на книжной полке пятнадцать выпусков альманаха «Казус», как не задаться вопросами: в чем этот подход был продуктивным, а в чем он обнаружил свою ограниченность? К каким «хронотопам» применение данного подхода оказалось наиболее эффективным? Чему нас научил и как нас изменил (и изменил ли) «Казус»? Не рассчитывая получить однозначные ответы на эти вопросы, составители преследуют скромную задачу их актуализации.

---

<sup>37</sup> Споры о «Казусе» // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1996 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 1. М., 1997. С. 306, 308. Соредактор Ю. Л. Бессмертного М. А. Бойцов в своем выступлении на том же обсуждении отметил: «Что же до „казусов“, то есть осколков исторической реальности, которыми нам более всего интересно любоваться в нынешнюю пору, то у них при всей пестроте есть, как, похоже, следует из обсуждаемого доклада, одна общая черта. Их объединяет между собой тот высказанный или же немой вопрос, с которым их рассматривает историк, и вопрос этот относится к степени самостоятельности, которую может позволить себе исторический индивид в тех или иных заданных ему исторических обстоятельствах. Я бы с легкостью назвал этот подход либеральным и вписал бы его (как и все продуктивное направление, объединенное девизом „человек в истории“) в логику развития послевоенного общества и его исторического сознания. Несколько мешает сделать это лишь ощущение присутствия в его подтексте одного вопроса, который нельзя отнести ни к актуальным, ни даже к „великим“, но стоит провести по категории вечных, – это вопрос о свободе воли (или же, в иной формулировке: о границах этой свободы)» (Там же. С. 311).

<sup>38</sup> Там же. С. 317.

В прошлом десятилетии некоторые наблюдатели отмечали постепенное угасание микроистории, охлаждение к ней интереса в академической среде на фоне возникновения «новых поворотов» («цифрового», «пространственного», «экологического» и др.) и возрождения интереса к «глобальной» истории. В наши дни, напротив, возникают оригинальные версии микроистории, обогащенные как теоретическим опытом прошлого, так и методологическими подходами последних лет. Кроме того, актуализируются вопросы о всеобщности «больших процессов», особенностях их локальных проявлений, способности отдельных людей или случайных событий воздействовать на «большие структуры»<sup>39</sup>. Мы полагаем, что опыт «Казуса» может и должен сыграть значимую роль в «новом микроисторическом повороте» в российском академическом пространстве и заинтересовать зарубежных исследователей.

На наш взгляд, исследовательская программа, предложенная основателем и авторами российского альманаха об индивидуальном и уникальном в истории, не может оставить равнодушными современных практикующих историков прежде всего благодаря своему стремлению максимально подробно, во всех деталях разглядеть *конкретного* человека далекого прошлого в его *конкретных* действиях<sup>40</sup>. По словам М. А. Бойцова и О. И. Тогоевой, программа альманаха изначально включала в себя «установку на соразмерность индивиду, то есть в некотором смысле на гуманизацию исторического знания»:

Для «Казуса», так же как и для микроистории, человеческий индивид оказывается не только главной темой исторического исследования, но и универсальным масштабом и подразумеваемым смысловым центром при создании образа прошлого, каким бы сюжетом историк ни занимался (другие направления усматривают такого рода универсальный масштаб и смысловой центр, к примеру, в «нации», «народе», «классе», «массе», «слое», «герое», «закономерности», «ментальности», «культуре», «цивилизации» и многих других)<sup>41</sup>.

Кроме того, сохраняет свою методологическую значимость и стремление зафиксировать точку напряжения между «принятыми в обществе нормами и личными устремлениями» индивида (с. 137 в этой книге). Это напряжение, «схваченное» в конкретной исторической ситуации, позволяет получить новую и уникальную информацию о самом обществе. Насколько оно было структурировано? Каковы были пределы допустимого и возможного для отдельного человека? Как отличался этот «зазор свободы» в зависимости от того или иного общества прошлого и/или от принадлежности к той или иной социальной группе? Как была устроена система межличностных отношений и какие возможности для ее участников она допускала? Исследовательская программа «Казуса», позволившая поставить эти важные вопросы, открывает новые перспективы для решения важнейшей проблемы исторической науки: какова механика исторических изменений и какова роль в этих процессах отдельных индивидуумов в различных социумах прошлого.

<sup>39</sup> См., например: Davis N. Z. Decentering History: Local Stories and Cultural Crossings in a Global World // History and Theory. 2011. Vol. 50. P. 188–202; Magnússon S. G., Szijártó I. M. What Is Microhistory? Theory and Practice. L.; N. Y., 2013. P. 71–74; Конрад С. Что такое глобальная история? М., 2018. С. 168–182; Леви Дж. Микроистория и глобальная история // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2019 / Под ред. О. И. Тогоевой и И. Н. Данилевского. Вып. 14. М., 2019. С. 359–374. Не случайно в 2018 г. крупнейшее британское академическое издательство Routledge запустило новую серию книг *Microhistories* и уже опубликовало более десятка книг (<https://www.routledge.com/Microhistories/book-series/MICRO>), а ведущее российское гуманитарное издательство «Новое литературное обозрение» в том же 2018 г. стало инициатором круглого стола, посвященного обсуждению перспектив развития микроистории в России, в том числе в формате книжной серии ([https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe\\_literaturnoe\\_obozrenie/160\\_nlo\\_6\\_2019/article/21779/](https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/160_nlo_6_2019/article/21779/)).

<sup>40</sup> Ю. Л. Бессмертный пояснял: «В отличие от наших предшественников, мы стараемся изучать именно *действия* и *поступки* людей прошлого» (Споры о «Казусе». С. 308).

<sup>41</sup> Бойцов М. А., Тогоева О. И. Дело «Казуса». С. 155.

Антология включает в себя два блока – теоретический и практический. Выбор статей, включенных в первый раздел, объясняется относительно просто. В значительной степени он оказался предопределен основателем альманаха: первые три выпуска «Казуса», увидевшие свет при жизни Ю. Л. Бессмертного, открывались острополемическими теоретическими работами (программная статья самого Юрия Львовича «Что за „Казус“?..» в первом выпуске, очерк М. А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!» во втором выпуске и статья П. Ю. Уварова «Апоката-стасис, или Основной инстинкт историка» в третьем выпуске), каждая из которых вызвала бурное обсуждение (материалы дискуссий также публиковались на страницах альманаха). Эти тексты и составили теоретический блок, который мы посчитали необходимым дополнить статьей Ю. Л. Бессмертного «Многоликая история», напечатанной в третьем выпуске «Казуса», исключительно важной для понимания сути его исследовательской программы.

Во втором блоке представлены опубликованные в первых выпусках «Казуса» исследовательские статьи<sup>42</sup>. В этой части антологии нам хотелось, с одной стороны, собрать вместе тексты, наиболее репрезентативно представляющие ту версию микроистории, которую первоначально развивал альманах «Казус», а с другой стороны, обеспечить относительно «равномерное покрытие» различных стран и периодов (с тем, чтобы продемонстрировать, как работает предложенный Ю. Л. Бессмертным подход при изучении различных «хронотопов»). Разумеется, наш выбор в значительной степени субъективен и далеко не претендует на полноту охвата. Однако мы рассчитываем на то, что антология побудит заинтересованных читателей к самостоятельному чтению других статей в альманахе<sup>43</sup>.

При подготовке этого сборника неоценимую помощь нам оказали Юлия Александровна Сосорина, а также стажеры-исследователи Научно-учебной лаборатории медиевистических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Дарья Анатольевна Серегина и Ольга Алексеевна Макридина.

Некоторые статьи сопровождаются авторскими послесловиями. Квадратными скобками обозначены примечания, которые отсутствовали в статьях изначально, но были добавлены авторами или составителями при подготовке этого сборника.

---

<sup>42</sup> М. М. Кром в 2003 г. высказал мнение, что большинство опубликованных в «Казусе» исследовательских работ следует называть скорее «историческими миниатюрами», а не микроисторией, «известной нам по работам Гинзбурга, Леви, Медика, Черутти, Сэбиана и других исследователей», так как они не поднимают «никаких крупных проблем, выходящих за рамки рассмотренных там сюжетов» (*Шлюбом Ю., Кром М., Зоколл Т.* Микроистория: большие вопросы в малом масштабе // *Прошлое – крупным планом. Современные исследования по микроистории.* СПб., 2003. С. 22–23). Однако мы полагаем, что «казусные» статьи, во-первых, нельзя рассматривать вне контекста той исследовательской программы, в рамках которой они были выполнены (вне зависимости от того, относим ли мы эту программу к «микроистории» или нет), а во-вторых, их ни в коем случае нельзя сравнивать с монографическими трудами. Важно подчеркнуть экспериментальный характер этих работ, а также помнить, что речь идет именно об «исследовательских этюдах» (может быть, в чем-то и несовершенных, как и положено быть «этюдам»), призванных на конкретном историческом материале раскрыть научную программу, предложенную Ю. Л. Бессмертным. Впрочем, в третьем издании учебного пособия по исторической антропологии 2010 г. М. М. Кром уже сравнивает «казусный» подход с «эпизодической микроисторией» (по терминологии Б. Грегори), оговариваясь, что «не все работы, опубликованные в альманахе „Казус“, могут служить примером удачного использования микроисторического подхода» (*Кром М. М.* Историческая антропология: Учебное пособие. СПб; М., 2010. С. 162–165).

<sup>43</sup> См. полный указатель опубликованных в альманахе «Казус» статей, составленный О. И. Тогоевой: *Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2020.* С. 409–419.



## О. Ю. Бессмертная

### Лаборатория «Казуса»: о статьях Ю. Л. Бессмертного

– Ищу название для нашего альманаха... Понимаешь, мы будем писать о разных неожиданных случаях, необычных событиях, нестандартных поступках... Меня вот очень привлекает выражение «вот так казус!», «что за казус?!» – но теперь ведь так не говорят?

– Ну и что? Так и назови, «Казус»...

Так в разговоре Ю. Л. Бессмертного с женой, Ириной Михайловной, и родилось название альманаха, предложенное им коллегам и принятое всеми.

Хотя я начала эти заметки со своего рода семейной легенды, я не претендую здесь на какое-либо особое знание или особое свидетельство: мои представления о том, как рождался «Казус» в версии Ю. Л., – лишь одна из возможных трактовок, и основывается она не только на моем общении с отцом, но и, как у многих других, на чтении его работ; устные обсуждения в Центре «История частной жизни и повседневности» ИВИ РАН и сопутствовавшем семинаре, где отшлифовывались предлагавшиеся идеи, остаются за рамками моих наблюдений.

Статьи, которые здесь переиздаются, как и выработка самого подхода, обретшего в итоге название «казусного»<sup>44</sup>, создавались Ю. Л. в ситуации эмоционально двойственной. С одной стороны, это был период его творческого подъема и вдохновения, попросту счастья от найденного нового – в контексте тогдашней отечественной историографии – ракурса взгляда на прошлое. Этот радостный подъем был, конечно, важной частью общего ощущения *свободы* – свободы мысли, слова, общения, наступившей после падения советского строя, частью всего того, что теперь стало принято называть «надеждами 90-х». С другой стороны, предлагавшийся подход вызывал скепсис, а то и резкое неприятие большей части коллег-сверстников. На Ученом совете Института всеобщей истории, где утверждали к печати первый выпуск альманаха (к печати должны были утверждаться все издания, выходившие под институтским грифом), не только планировавшаяся книжка, но и само обращение к «уникальному и индивидуальному в истории» подверглись резкой критике. Особенно горьким было то, что критиками выступали не (только) те люди, от которых «три мушкетера» *новой исторической науки* в Советском Союзе – А. Я. Гуревич, Л. М. Баткин и Ю. Л. Бессмертный – привыкли ждать идеологических заграждений<sup>45</sup>, но и один из них самих, А. Я. Гуревич, причем он был особенно категоричен. Подходы, введенные Гуревичем за 20–25 лет до того в отечественное историографическое пространство в остром противостоянии официальному советскому марксизму, а именно историю ментальностей (со временем переосмысленную как историческая антропология, или антропологически ориентированная история), Ю. Л. и сам долгое время разделял и всячески пропагандировал; соратников связывала, как долгое время казалось, и тесная личная дружба. Л. М. Баткин на том Ученом совете промолчал, о чем впоследствии упоминал с сожалением в частных беседах, отмечая, что Гуревич был решительно не прав.

Я упоминаю об этом конфликте, начавшемся за несколько лет до рождения «Казуса» и для Ю. Л. крайне болезненном, вовсе не для того, чтобы предложить здесь нарратив героического противостояния автора «казусной идеи» новой ортодоксии. Речь идет о том, с какими

---

<sup>44</sup> Поначалу его иногда называли также «казуальным» (не путать с «каузальным», то есть причинным). О поисках Ю. Л. в этом пространстве см. важную статью: *Репина Л. П.* Историк в поиске: к 90-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного // *Диалог со временем*. 2013. № 44. С. 232–248.

<sup>45</sup> О «новой исторической науке» в СССР и роли трех названных ученых см.: *Копосов Н. Е., при участии О. Ю. Бессмертной.* Ю. Л. Бессмертный и «новая историческая наука» в России // *Номо Historicus*. К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного: коллект. моногр. в двух книгах / Под ред. А. О. Чубарьяна. М., 2003. Кн. 1. С. 122–160. Сравнение этих трех ученых с тремя мушкетерами принадлежит Н. Е. Копосову.

именно позициями и в какой эмоциональной обстановке ему приходилось спорить, а тем самым и разрабатывать детали и расставлять акценты. Отвержение бывшего друга требовало ответа; поддержка второго радовала, но шла как-то «по касательной». Мнения обоих этих ученых, как и других историков, принадлежавших неофициальной культуре в СССР, вместе с которыми Ю. Л. прошел большую часть научной жизни, оставались для него весьма значимыми – рядом с новыми его собеседниками, тогдашним молодым поколением отечественных историков, медиевистов в частности, немалое число которых привлек предлагавшийся подход<sup>46</sup>. Отечественную русскоязычную аудиторию он видел основным своим адресатом, несмотря на «взрыв» в 1990-е гг. контактов с коллегами за рубежом, особенно во Франции, Германии, США<sup>47</sup>.

Чтобы шире представить себе контекст полемики, стоит вспомнить, что вопросы о роли индивидуального в истории возникли в творчестве Ю. Л. отнюдь не спонтанно, не на «голом месте». Особенную роль тут сыграло направление исследований, разрабатывавшееся им в 1980-е гг., которое он называл «новой исторической демографией» (или «антропологически ориентированной исторической демографией»), видя в ней важное направление внутри «новой исторической науки» и именуя ее по аналогии с этой последней<sup>48</sup>. Речь шла о том, чтобы, «разговорив» совершенно не характерные для традиционной демографии источники «достоинственной эпохи» (которая обычные демографические источники предоставить попросту не могла), анализируя преимущественно «историко-культурный дискурс», исследовать «ментальные и поведенческие стереотипы, позволяющие выявить принятые нормы и реальную практику демографического поведения». За этим стояла еще более широкая и концептуальная задача превратить демографическую историю в «один из интегрирующих ракурсов исторического анализа в целом»<sup>49</sup>. Это достигалось изучением взаимодействия в демографической сфере (то есть во всем, что касалось рождения, детства, брака, семьи – жизни и смерти), с одной стороны, массовых представлений, с другой – социального поведения, с третьей – «объективных процессов», «макроусловий», «социальных структур»<sup>50</sup>. Здесь отчетливо отражалось стремление Ю. Л. сочетать «культурологический» и «социологический» ракурсы исторического исследования, ярко и влиятельно противопоставленные в знаменитой статье Л. М. Баткина (однако, как увидим, совсем иначе, чем это противопоставление осмыслялось в итальянской микроистории, о чем мы читали позже у Симоны Черутти)<sup>51</sup>, иными словами, изучать соотношение сферы духовной жизни (представлений, «картины мира») и социальных практик. Речь шла тем самым о поисках «исторического синтеза» – «вечной проблемы исторической науки», устремление к которому как конечной цели исторического исследования было характерно для историков этой волны в то время<sup>52</sup>.

<sup>46</sup> Ср., например, имена и позиции участников дискуссий в: Споры о «Казусе» // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1996 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 1. М., 1997. С. 303–320; Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1999.

<sup>47</sup> «Начать с начала...» Интервью Ю. Л. Бессмертного Н. Е. Копосову (20 сентября 1991 г.) // Homo Historicus. Кн. 2. С. 335–370.

<sup>48</sup> См., в частности: Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографической истории Франции. М., 1991; Он же. Новая демографическая история // Одиссей. Человек в истории – 1994. М., 1994. С. 239–256; Bessmertny Y. La vision du monde et l'histoire démographique en France aux IXe – XVe siècles. Quatre leçons au Collège de France. Mars 1989. P., 1991; Idem. L' Histoire démographique anthropologiquement orientée et son devenir en Russie // Historia a debate. T. III: Otros Enfoques. Actas del Congreso Internacional... en Santiago de Compostela / Ed. por C. Barros. Santiago de Compostela, 1995. P. 121–126.

<sup>49</sup> Бессмертный Ю. Л. Новая демографическая история. С. 250–251.

<sup>50</sup> Bessmertny Y. Les Annales vues de Moscou // Annales. ESC. 1992. Vol. 47. № 1. P. 245–259, здесь P. 255.

<sup>51</sup> Баткин Л. М. Два способа изучать историю культуры // Вопросы философии. 1986. № 12. С. 101–115. Ср.: Черутти С. Микроистория: социальные отношения против культурных моделей? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2005 / Под ред. М. А. Бойцова и И. Н. Данилевского. Вып. 7. М., 2006. С. 354–375.

<sup>52</sup> Bessmertny Y. Les Annales vues de Moscou; Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993; Бат-

Настолько важны были эти поиски, что первой реакцией Ю. Л. на знаменитый манифест четвертого поколения французских «Анналов» «*Tentons l'expérience*» – манифест того самого «прагматического (или „критического“, или „исторического“) поворота», который в статье «Что за „Казус“?» Ю. Л. отнесет к отличавшемуся «наибольшей глубиной» осмыслению современной историографической ситуации (см. в этой книге с. 66) и который станет одним из основных историографических «реперов» для разработки казусного подхода, – была его резкая критика<sup>53</sup>. Как ему тогда казалось, предлагавшийся здесь подход предполагал фактический отказ от самих попыток «синтеза», от отвечавшей основополагающим принципам «Анналов» цели писать «тотальную историю», подменявшейся, как казалось, множественностью конструируемых историком объектов изучения<sup>54</sup>. Ю. Л. увидел эту тенденцию в акценте авторов манифеста на субъективности историка-исследователя, на ничем не ограниченной (кроме непротиворечивости по отношению к историческим данным и стройности аргументации) множественности возможных трактовок прошлого; он противопоставлял этому в качестве контраргументов позиции представителей третьего поколения «Анналов», разработчиков «старой» версии «новой исторической науки» – Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби, А. Бюргера<sup>55</sup>. Спустя семь или восемь лет, на пике (и незадолго до непредвиденного обрыва<sup>56</sup>) его продумывания проблем, связанных с обращением к индивидуальному, уникальному и случайному в истории, он напишет:

А как же единственность «исторической правды»? – спросит здесь мой оппонент. Не ведет ли допущение предлагаемых альтернативных подходов к безответственности или даже беспринципности в деятельности историка? <...> [Но] ведь казусный анализ отдельных феноменов рассчитан как раз на их углубленную проработку и на осмысление *реальной многозначности* каждого из них. «Единственность» истолкования априорно оказывается в таком случае под вопросом, несмотря на то что множественность смыслов ничуть

---

кин Л. М. О том, как А. Я. Гуревич возделывал свой аллод // Одиссей. Человек в истории – 1994. М., 1994. С. 1–28.

<sup>53</sup> *Tentons l'expérience* // *Annales. ESC*. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1317–1323. Как известно, этот манифест был продолжением предыдущей редакционной статьи «Анналов», обозначившей проблематику этого поворота: *Histoire et sciences sociales. Un tournant critique?* // *Annales. ESC*. 1988. Vol. 43. № 2. P. 291–293; рус. пер.: История и социальные науки: поворотный момент? // *Анналы на рубеже веков. Антология* / Ред. – сост. А. Я. Гуревич, С. И. Лучицкая. М., 2002. С. 11–14. Ю. Л. переводил вторую часть названия этой статьи как «переломный этап?», подчеркивая важность вопросительного знака в конце фразы (*Бессмертный Ю. Л. «Анналы»: переломный этап?* // *Одиссей. Человек в истории* – 1991. М., 1991. С. 7–24). Русский перевод статьи-манифеста *Tentons l'expérience*, на мой взгляд не слишком удачный, опубликован в той же антологии под заголовком «Попробуем поставить опыт» (*Анналы на рубеже веков*. С. 15–22). Ю. Л. в названной статье 1991 г. фактически отказался от перевода этого названия, передавая лишь его общий смысл как «продолжаем наш поиск» (*Бессмертный Ю. Л. «Анналы»*. С. 9). Сегодня, когда смысл прагматического поворота в целом и содержания этого манифеста в частности уже осознан, перевод использованной здесь игры слов представляется очевидным: «Обратимся к опыту» (буквально «попробуем опыт»); речь шла как о предложении *экспериментировать* (поскольку историю предлагалось рассматривать, наряду с другими социальными науками, как науку, основанную на опытах-экспериментах), так и, особенно, об обращении к конкретным практикам – *опыту* – акторов прошлого. Об экспериментальности истории в этом контексте см.: *Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус»? (в этой книге)*; Бернар Лепети и Жан-Ив Гренье о журнале «Анналы» / Публ. и введ. Ю. Л. Бессмертного // *Одиссей. Человек в истории* – 1994. М., 1994. С. 314–321.

<sup>54</sup> Фрагментация истории, ее распадение на «осколки» и отказ от «тотальной истории» ставились в вину «Анналам», как известно, уже раньше. См. особенно: *Dosse F. L'histoire en miettes: des «Annales» à la «nouvelle histoire»*. P., 1987. Дискуссия была подхвачена у нас как раз в связи с выходом «Казуса» и наиболее остро развернулась вокруг статьи М. А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!» (в этой книге). Подробнее см. в послесловии к его статье в этой книге.

<sup>55</sup> *Bessmertny Y. Les Annales*. Эта статья Ю. Л., основанная на его докладе в редакции «Анналов» в Париже весной 1991 г., предлагала куда более резкую (и, как мне кажется, не безошибочную) критику новых тенденций «Анналов», чем опубликованная в «Одиссее-1991» статья «„Анналы“: переломный этап?».

<sup>56</sup> Смерть Ю. Л. 30 ноября 2000 г., вызванная врачебной ошибкой, была неожиданной и катастрофичной для всего его окружения.

не угрожает здесь «единственности исторической правды». Ей угрожает, наоборот, утверждение безусловности одного-единственного истолкования<sup>57</sup>.

Сложность этой формулировки говорит о том, что Ю. Л. хорошо сознавал опасность и той и другой угрозы – презумпции однозначности vs. множественности «исторической правды», – о которых мы сегодня хорошо знаем по опыту; не забудем вместе с тем, сколь важно было в 1990-е преодолеть детерминизм и претензии на обладание единственной истиной.

Однако интерес Ю. Л. к «уникальному своеобразию каждого индивида» сложился еще до продумывания французского «прагматического поворота» и всего, что его окружало, – как раз в период его работы над «Жизнью и смертью в средние века» (если не раньше<sup>58</sup>), где он сталкивался со случаями нестандартного, «выламывающегося» из обычной практики индивидуального поведения. Собственно, именно разработка «новой демографической истории» приводит его к постановке проблемы изучения этого индивидуального «своеобразия» *рядом* с «массовым поведением (и массовым сознанием)», к вопросу о механизмах взаимодействия массового и индивидуального, поскольку как раз демографическая сфера предстает в его глазах средоточием дихотомии между ними, той областью человеческой жизни, где более, чем где-либо еще, «массовые стереотипы» подвергаются особенно «интенсивному испытанию на прочность» в «повседневной индивидуальной практике»<sup>59</sup>.

«Казус» – и альманах, и подход – рождается из развития этих поисков, воплотившегося в исследованиях по истории частной жизни: «Речь шла в первую очередь о повседневном поведении человека у себя дома, в кругу семьи и родных, среди друзей и единомышленников и – особо – „наедине с собой“. Весь этот спектр человеческих поступков более или менее условно был назван сферой частной жизни»<sup>60</sup>. Это была в важной части коллективная работа – во главе проекта «История частной жизни и повседневности», организационное ядро которого составили сотрудники группы «Новая демографическая история», сформированной ранее в ИВИ под руководством Ю. Л. и позднее преобразованной в центр «История частной жизни и повседневности»<sup>61</sup>. Этот преимущественно молодой (по меньшей мере в сравнении с Ю. Л.) коллектив и стал опорой разработки казусного подхода и центром проходивших тут дискуссионных семинаров с немалым числом участников<sup>62</sup>. Так что и теоретическое обоснование самого обращения к индивидуальному в истории, и постановка вопроса о соотношении микро- и макро-подходов в исследованиях прошлого, ставшего со временем ключевым, вырастали в пространстве конкретных, отнюдь не отвлеченных исследований.

Я не знаю, произошел ли какой-то особенный случай – конкретный разговор с кем-то из коллег в Москве или во Франции, Германии или Америке, впечатление от какой-то книги

<sup>57</sup> Бессмертный Ю. Л. Это странное, странное прошлое... // Диалог со временем. 2000. Вып. 3. С. 34–46; *Он же*. Тенденции переосмысления прошлого в современной зарубежной историографии // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 152–158.

<sup>58</sup> Ср.: Бессмертный Ю. Л. Мир глазами знатной женщины IX в. (К изучению мировосприятия каролингской знати) // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 83–107. Замечу, что в этой известной статье, посвященной одной знатной женщине IX в., Дуоде, Ю. Л. ищет еще не столько своеобразное, сколько – вопреки своеобразию – типичное, репрезентативное.

<sup>59</sup> Бессмертный Ю. Л. Новая демографическая история. С. 248.

<sup>60</sup> Бессмертный Ю. Л. Несколько вводных замечаний // Историк в поиске. С. 7.

<sup>61</sup> Я признательна П. Ш. Габдрахманову за сведения о формальной истории группы. Созданная в 1987 г. под названием «Группа по исторической демографии», она была переименована в группу «Новая демографическая история» в 1990 г. В центр «История частной жизни и повседневности» она преобразована в 1996 г.

<sup>62</sup> См. особенно: Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени: коллект. моногр. / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1996; Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала Нового времени: коллект. моногр. / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 2000. Ряд коллективных демографических исследований под его руководством был создан на предыдущем этапе: Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы: проблемы и исследования: сб. статей / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1988; Женщина, брак, семья до начала Нового времени: Демографические и социокультурные аспекты: сб. статей / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1993. О переключках между демографическими исследованиями Ю. Л. и его обращением к индивидуальному, уникальному и случайному в истории см. подробнее: Ретина Л. П. Историк.

или статьи, что-то совсем бытовое, – что подтолкнуло Ю. Л. к переосмыслению самих способов видения прошлого и выявлению и обобщению соответствующих тенденций в современной историографии – переосмыслению, с которым он так отчетливо связал «казусный подход», – или же это переосмысление вырабатывалось постепенно. Ясно, что здесь сказались сочетание различных факторов. С одной стороны, вопросы, остро поставленные современностью: размышления о взаимоотношениях индивида с «системой» (с политическим строем в особенности), о его возможностях воздействовать на ход истории, характерные для гуманитариев этого круга в период после распада СССР<sup>63</sup>, Ю. Л. целенаправленно переосмыслял в профессиональном русле. Он отмечал и взаимосвязанность нашего видения прошлого с политическими интерпретациями современности<sup>64</sup>. С другой стороны, чтение, причем не только в специальном профессиональном русле и не только тогдашней беллетристики, трактовавшей во многом те же вопросы. Отмечу, что интерес к естественно-научным концепциям, близким к синергетике и к работам И. Р. Пригожина в частности, то есть к концепциям, разрушавшим представления о жесткой внутренней взаимосвязанности и гомогенности систем, которые Ю. Л. не единожды цитировал как свидетельство общих изменений во взглядах на мироустройство<sup>65</sup>, также не был исключительным: к ним обращались и Ю. М. Лотман<sup>66</sup>, и Г. С. Кнабе<sup>67</sup>. И, наконец, собственно профессиональная сфера.

История частной жизни как раз и позволяла воплотить интерес к возможностям индивида в истории: «Именно на этом пути (в стремлении понять, как «принятые поведенческие нормы <...> интерпретировались в повседневной практике». – О. Б.) представлялось возможным прикоснуться к одной из самых животрепещущих проблем исторического знания, касающейся возможностей для индивида проявить себя, сделать свой выбор и, быть может, что-то изменить в повседневной рутине»<sup>68</sup>. Одновременно оказалось возможным – благодаря и свободе в выборе подхода, и институциональным, организационным обстоятельствам – вплотную обратиться к давней мечте – исследованию истории средневекового рыцарства, когда-то уже начатому Ю. Л., но прерванному. Книга «Рыцари, рыцарство, рыцарственность», обретавшая форму как раз благодаря обращению к индивидуальному и нестандартному в истории, так что отдельные ее части и создавались в рамках работы над историей частной жизни и «Казусом» (об этом подробнее ниже), должна была быть дописана в течение года (он не успел).

Все это вместе сопровождалось, естественно, интенсивным обращением к тем историографическим направлениям, что искали подходы к исследованию повседневных практик и индивидуальных стратегий и в ту пору широко обсуждались среди зарубежных историков, близких к – и отталкивавшихся от – исторической антропологии и школы «Анналов». Так и

<sup>63</sup> Ср. слова А. Я. Гуревича: «Способны ли индивиды, „простые“ люди воздействовать на колебания маятника истории? Я полагаю, что в попытке разгадать эту тайну и заключен конечный смысл „ремесла“ историка» (Гуревич А. Я. «Путь прямой, как Невский проспект», или Исповедь историка // Одиссей. Человек в истории – 1992. М., 1994. С. 7–34, С.). Ср. присутствие этой проблематики в: Баткин Л. М. Сон разума. О социально-культурных масштабах личности Сталина // Знание – сила. 1989. № 3, 4.

<sup>64</sup> О важности ухода от «цивилизационных подходов» и обращения к конкретной деятельности *acteurs* для превращения истории из «учительницы жизни» в «информацию к размышлению, необходимую [человеку] для его индивидуального выбора» см.: Бессмертный Ю. Л. Зима тревоги нашей. Судьбы историков в постперестроечной Москве // Homo Historicus. Кн. 1. С. 56–71.

<sup>65</sup> Бессмертный Ю. Л. Это странное, странное прошлое; Он же. Тенденции переосмысления.

<sup>66</sup> Изучение динамики культуры в сопоставимом русле представлено особенно в трех последних работах Ю. М. Лотмана (1922–1993), две из которых на русском языке изданы посмертно: Внутри мыслящих миров (М., 1996), Культура и взрыв (М., 1992), Непредсказуемые механизмы культуры (Таллин, 2010). См. особенно его критику детерминизма в «новой исторической науке» и обращение к концепциям Пригожина во «Внутри мыслящих миров», гл. «Исторические закономерности и структура текста»: Лотман Ю. М. Семiosфера. М., 2000. С. 339–362. Ср.: Непредсказуемые механизмы. С. 65–66.

<sup>67</sup> Кнабе Г. С. К проблеме локальных компонентов в реконструкциях культурно-антропологической реальности, или Дитя Арбата // Homo Historicus. Кн. 1. С. 100–121. См. об этом также примеч. 76.

<sup>68</sup> Бессмертный Ю. Л. Несколько вводных замечаний. С. 7.

появляется в качестве ближайших соседей и ориентиров «Казуса» весь тот спектр историографических направлений, который обозревает статья «Что за „Казус“?», ставшая обоснованием – да и манифестом – предлагавшегося подхода: немецкая история повседневности, итальянская микроистория и особенно французский «прагматический поворот». Стоит заметить, что, в отличие от обычной у нас практики отставания, «временного лага» в прочтении зарубежных публикаций, это был анализ работ, буквально только что вышедших, по свежим следам (коллеги отмечали, что Ю. Л. был склонен говорить о самых последних «веяниях» в историографии, обнаруживая тем самым нечто лишь намечающееся); на фоне долгой оторванности от контекстов западных историографий (даже при близком знакомстве людей этого круга с конкретными работами и направлениями, вроде школы «Анналов») такое прочтение требовало особой рефлексии<sup>69</sup>.

Статья «Что за „Казус“?» была написана после цитированных выше статей, осмыслявших результаты проведенных историко-демографических исследований и переломный этап в школе «Анналов», и в канун выхода первого из томов по истории частной жизни («Человек в кругу семьи»). Сохранилось две черновые версии этой работы, предшествовавшие ее опубликованному варианту. Их сравнение позволяет дополнительно акцентировать ключевые места статьи, потребовавшие особенно интенсивного продумывания, отразившегося в переделках, – впрочем, как кажется, достаточно явно акцентированные и в окончательном тексте.

На первом этапе работы потребовалось продумывание самого определения *казуса* – была подчеркнута неоднородность явлений, обнимаемых этим понятием, и, что особенно важно, поставлен акцент на значимости изучения «нетипичных», «неординарных» казусов для ответа на главный вопрос, который предлагалось рассматривать: о социальной роли индивида в разные периоды в разных обществах, его способности противостоять среде (поиски шли в пространстве между *единичными* казусами вообще и казусами, представлявшими *неординарные* поступки и ситуации). В дискуссии о предлагаемом подходе, опубликованной в том же 1-м выпуске альманаха, Ю. Л. назовет такой интерес к нестандартным поступкам и девиантному поведению особенностью казусного подхода в сравнении с другими микроисторическими направлениями<sup>70</sup>; замечу, однако, что, как мне представляется, этот акцент будет в дальнейшем смягчен и внимание вновь направится на «всякий конкретный казус, всегда окрашенный индивидуальностью его участников»<sup>71</sup>. И в самом деле, не в любом ли отдельном случае мы в состоянии увидеть нечто особенное и неординарное, что и побуждает нас об этом писать?

Также была включена в пространство размышлений о казусах проблема достоверности и изменчивости наших знаний о прошлом – в частности, применительно к роли автора источника в формировании наших интерпретаций. Превращение деятельности самого составителя источника в *казус* специально разработано в статье о Гийоме Марешале, вышедшей в том же 1-м выпуске «Казуса», «Это странное ограбление» (с. 192–206 в этой книге). Парадоксальность совмещения у Ю. Л. микроистории, в конечном счете по своему духу позитивистской, с идеями о субъективности историка и непрозрачности прошлого отмечалась тогда по свежим следам<sup>72</sup>; мы, однако, видели выше, что связь «прагматического поворота» с вопросом о пределах конструирования прошлого историком была констатирована Ю. Л. еще и в период критического к нему отношения. Вместе с тем, говоря о неизбежной множественности концепций в наших интерпретациях прошлого, Ю. Л. подчеркивает и необходимость их критики, добавляя яркую

<sup>69</sup> Ср.: Баткин Л. М. О том, как А. Я. Гуревич... С. 16–17.

<sup>70</sup> Споры о «Казусе». С. 307–308.

<sup>71</sup> Бессмертный Ю. Л. Многоликая история (Проблема интеграции микро- и макроподходов).

<sup>72</sup> Савицкий Е. Е. Эта странная русская «микроистория» // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2003 / Под ред. М. А. Бойцова и И. Н. Данилевского. Вып. 5. М., 2003. С. 546–569.

цитату из О. Г. Эксле, отрицающего «бесхребетный историзм», «который не способен ничего отвергнуть, потому что он ко всему стремится отнестись с пониманием»<sup>73</sup>.

Разумеется, постоянно шло продумывание релевантной историографии. Осознание связи с «открытием индивида» (и, добавлю, с «возвращением субъекта») привело к констатации важнейшей особенности предлагаемого подхода – акцента на исследованиях «социальной практики», «действий», а не «саморефлексии» индивида (внимание к которой столь характерно, например, для возникавшей тогда же и позднее ставшей хорошо известной у нас «истории советской субъективности»<sup>74</sup>). Это должно было отвечать все на тот же ведущий вопрос о месте и функциях индивида и возможностях индивидуального *выбора* решений в разных обществах в разные исторические периоды и, казалось бы, определенно помещало поиски в пространство социальной истории.

И конечно, важнейшим направлением поисков было соотношение микро- и макроисследований. Собственно, о проблеме противостояния – апории – этих исследовательских перспектив, отражавшей столь значимую для него дихотомию индивидуального и массового, Ю. Л. заговорил тогда же, когда и об этой последней, – еще по свежим следам книги «Жизнь и смерть в средние века», в цитированных выше статьях начала 90-х гг.<sup>75</sup> Правка текста статьи «Что за „Казус“?» свидетельствует о тщательных поисках баланса в этом противопоставлении. Так, в связи с отмеченным им отказом «прагматического поворота» от преобладавшего до тех пор функционализма (как и, добавлю, структурализма), что Ю. Л. в принципе поддерживает, он вместе с тем подчеркивает важность учета «функциональных связей между поведением индивида и социальным контекстом», однако при отказе от презумпции «автоматизма» этих связей (с. 72 в этой книге).

Одновременно он ищет авторов, обсуждающих подобную проблематику, в ближайшем к нему кругу среди соотечественников. Их двое. С одной стороны, Г. С. Кнабе, известный историк античной культуры, остававшийся, кажется, при всей широте его культурологических размышлений, несколько на периферии упомянутого выше круга гуманитариев – носителей неофициальной советской культуры; с другой – близкий друг Ю. Л., Л. М. Баткин. Собственно, именно идеи Кнабе об апории «жизни» (а значит, и «индивидуализирующих подходов» к ее изучению) и науки, работающей посредством обобщений, Ю. Л. использовал в первой версии статьи «Что за „Казус“?» для поддержки предложенного им против- и соположения микро- и макроподходов<sup>76</sup>. Однако на втором этапе правки Ю. Л. предпочел отказаться от этой ссылки и обратился к идеям Баткина о дополнительности «социологического» и «культурологического» способов изучения истории культуры, но существенно изменил контекст приложения этих идей. Как известно, Баткин противопоставлял «социологический» подход (куда попадали и структурализм Ю. М. Лотмана, и история ментальностей в версии А. Я. Гуревича) как подход, изучающий человека в качестве «объекта» и «вещи», подходу «культурологическому», восходящему к М. Бахтину и В. Библиеру и рассматривающему – в контексте идеи «диалога культур» – не «текст» (то есть «вещь»), а «произведение» (то есть творение автора, взятое во всей его

<sup>73</sup> Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус»?

<sup>74</sup> Избегая цитирования этой обширной литературы, назову лишь: Интервью с Игалом Хальфином и Йоханом Хелльбеком (пер. М. Могильнер) // *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 217–260.

<sup>75</sup> Бессмертный Ю. Л. Новая демографическая история; *Bessmertny Y. Les Annales*.

<sup>76</sup> Помимо работы, которую цитировал Ю. Л. (Кнабе Г. С. Общественно-историческое познание второй половины XX века и наука о культуре // Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 157–168), см.: Кнабе Г. С. Общественно-историческое познание второй половины XX века, его тупики и возможности их преодоления // *Одиссей. Человек в истории* – 1993. М., 1994. С. 247–255; *Он же*. К проблеме локальных компонентов. С. 100–102. Проблема «индивидуализирующих понятий» в исторических исследованиях в широком контексте и в связи с микроисторией была специально рассмотрена Н. Е. Копосовым в докладе для конференции «Историк в поиске» и последовавшей статье: Копосов Н. Е. О невозможности микроистории // *Казус. Индивидуальное и уникальное в истории* – 2000 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 3. М., 2000. С. 33–51.

уникальности), увиденное не только в «малом», конкретном историческом времени (времени его создания), но и в бахтинском «большом» – «всеобщем» времени<sup>77</sup>. Ю. Л. «перевел» это противопоставление в терминах подходов макро- (то есть ориентированных на структуры) и микро- (то есть ориентированных на индивидуальное и уникальное), причем смещение исследовательского фокуса на стратегии индивидуального поведения превращало в «произведение» не текст, а поступок (вероятно, под тем же влиянием Ю. Л. чуть позднее делает акцент на возможности рассматривать отдельного индивида «и как микрообъект, и как *нек[ую] тотальность*, способн[ую] – в известных пределах – раскрыть свое время»<sup>78</sup>). Социальная история в такой перспективе обретала существенное культурологическое, а иной раз и «филологическое» измерение, обращаясь к «*внутреннему миру*» конкретного человека и во многом воспроизводя ракурсы истории ментальностей и исторической антропологии – но применительно к отдельному индивиду и в сопоставлении его опыта с общепринятыми нормами (внимание к «внутреннему миру» сохраняется во всех работах Ю. Л. этого периода, ср., например, статью «Многоликая история» в этой книге).

Это измерение характерно и для ряда задуманных как будущие главы «Рыцарства» статей, в частности для переиздаваемой здесь статьи «Это странное ограбление»<sup>79</sup>. Работа над этой книгой – да и, параллельно, над историей частной жизни – постепенно смыкалась, как кажется, с историей эмоций, «взятой» на скрещении индивидуального и стереотипного. При этом само название книги «Рыцари, рыцарство, рыцарственность» должно было указать, как рассказывал мне Ю. Л., на сочетание используемых исследовательских ракурсов: «рыцари» – на индивидуность, отдельность каждого из рассматриваемых персонажей и/или создававших их авторов (как это сделано, в частности, в статье «Это странное ограбление»); «рыцарство» – на общие черты этого явления в ракурсе «макро»; «рыцарственность» – на этическую значимость сложившихся в рыцарстве идеалов не только в «малом» времени Средневековья, но и в большом, «всеобщем» времени человечества<sup>80</sup>.

Однако в целом, как мне представляется, идея бахтинско-баткинского «большого времени» в ее собственном смысле оставалась для Ю. Л. чуждой. При всей предполагаемой ею

<sup>77</sup> Баткин Л. М. Два способа; *Он же*. Заметки о современном историческом разуме // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2000. С. 62–96. Подробнее о Л. М. Баткине см.: *Копосов Н. О* Леониде Михайловиче Баткине // Новое литературное обозрение. 2017. № 145. С. 180–194; *Дмитриев А.* Баткин и марксизм, или Снова об «уютности культуры» // Новое литературное обозрение. 2019. № 160. С. 122–143.

<sup>78</sup> Бессмертный Ю. Л. Коллизия микро- и макроподходов и французская историография 90-х годов // Историк в поиске. С. 10–30.

<sup>79</sup> Ср. эволюцию подходов в: Бессмертный Ю. Л. Крестьянин глазами рыцаря (по материалам Франции XI–XIII вв.) // Культура и общественная мысль. Античность. Средние века. Эпоха Возрождения. М., 1988. С. 99–109; *Он же*. Вновь о трубадуре Бертроне де Борне и его видении простолюдина. К проблеме расшифровки культурных кодов // Одиссей. Человек в истории – 1995. М., 1995. С. 140–150; *Он же*. Политические традиции средневекового рыцарства в свете исторической антропологии // Политическая история на пороге XXI в. М., 1995. С. 103–111; *Он же*. Казус Бертрона де Борна, или «Хотят ли рыцари войны?» // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1999 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 2. М., 1999. С. 131–147; *Он же*. Скорбь о близких в XII–XIII веках (по материалам англо-французской литературы) // Человек в мире чувств. С. 243–261; *Он же*. Риторика рыцарской скорби по данным англо-французской литературы XII–XIII вв. // Человек и его близкие на Западе и Востоке Европы (до начала Нового времени) / Ред. Ю. Л. Бессмертного, О. Г. Эксле. М., 2000. С. 64–83 (пер.: *Le deuil au début du XIIIe siècle: La rhétorique de l'individu dans la littérature anglo-française* // *Das Individuum und die Sienen. Individualität in okzidental und in der russischen Kultur in Mittelalter und früher Neuzeit* / Hrsg. von Y. Bessmertny, O. G. Oexle. Göttingen, 2001); *Он же*. Странное счастье рыцаря // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2002 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 4. М., 2002. С. 53–72; *Он же*. Рыцарское счастье – рыцарское несчастье (Западная Европа, XII–XIII вв.) // В своем кругу: Индивид и группа на Западе и Востоке Европы до начала Нового времени / Ред. М. Бойцов, О. Г. Эксле. М., 2003. С. 51–87. О поисках подходов к изучению рыцарства см. также: Бессмертный Ю. Л. Другое средневековье, другая история средневекового рыцарства // *Homo Historicus*. Кн. 1. С. 72–99.

<sup>80</sup> Ср. в интервью Ю. Л. 1991 г.: «...Человеческое существо не в состоянии <...> ограничиваться поисками хлеба. И вот почему я сейчас испытываю удовлетворение, когда занимаюсь своими сюжетами. Особенно сейчас, когда я перехожу – вернее, возвращаюсь – к сюжетам рыцарства: ибо мне хочется на примере истории рыцарей, рыцарства и – *рыцарственности* – показать основополагающую роль понятий человеческого *достоинства*, человеческой *чести*, *внутренней* человеческой красоты для... – ну, если хотите, – судеб истории» («Начать с начала...». С. 361).



диалектичности соотношения всеобщего и особенного (Ю. Л. цитирует Баткина: «нет никакого всеобщего, кроме особенного»<sup>81</sup>), его более всего интересовала специфика, своеобразие, будь то своеобразие отдельного индивида или уникальность времени. Характерно, что в дальнейшем картина «разъемов» и «зазоров» в общественных системах (в которые и прорывается, в видении Ю. Л., индивидуальное своеобразие, которые и предстают нашему взору сквозь призму казусов) будет им продлена из социальной синхронии в область диахронии, и он заговорит, оспаривая эволюционистское и телеологическое видение истории, о разрывах в историческом времени и, в частности, об особой «странности» Средневековья<sup>82</sup>.

Поиски способов совмещения перспектив микро- и макроисследований, как и обоснование отчетливо увиденной Ю. Л. их «неслиянности» (каковая этих поисков и требовала), были продолжены в ряде его работ и, в частности, в докладе на знаменитой конференции, специально посвященной соотношению микро- и макроподходов, «Историк в поиске», организованной им и его группой в ИВИ РАН в конце 1998 г.<sup>83</sup> Основную часть работы конференции составила обширная и бурная дискуссия, вызванная не только представленными там докладами<sup>84</sup>, но и казусным подходом как таковым (участники нередко ссылались и на вводную статью Ю. Л. «Что за „Казус“?», и на другие публикации в первом выпуске «Казуса»). Подведение итогов этой дискуссии и уточнение позиций Ю. Л. предложил в переиздаваемом здесь отдельном докладе «Многоликая история (К проблеме интеграции микро- и макроподходов в истории)», прочитанном на семинаре в ИВИ по свежим следам конференции и опубликованном сначала в том же сборнике конференции, а затем в 3-м выпуске «Казуса» (2000) – вместе с рядом докладов участников конференции (некоторые из них также переиздаются здесь) и специально написанной в связи с этой дискуссией обширной статьей Л. М. Баткина<sup>85</sup>. По сравнению со статьей «Что за „Казус“?» проблема соотношения и *дополнительности* микро- и макроподходов, как мне представляется, здесь была существенно заострена и предложена на шумевшая тогда метафора-девиз «Смотреть в оба!»: соотношение перспектив микро- и макро- во взгляде историка Ю. Л. уподобил наложению картин, поступающих от правого и левого глаза в физиологии зрения человека (см. с. 140 в этой книге)<sup>86</sup>.

В докладе «Коллизия микро- и макроподходов», предшествовавшем этому заключительному выступлению, Ю. Л. подробнее, чем прежде, рассмотрел связи «прагматического поворота» во французской историографии с социологическими дискуссиями (предпочтение И. Гофману<sup>87</sup> в противопоставлении Э. Дюркгейму и П. Бурдьё, труды Л. Болтански и Л. Тевено<sup>88</sup> как опора теоретиков применения «прагматического поворота» в истории) и пока-

<sup>81</sup> Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус»?

<sup>82</sup> Бессмертный Ю. Л. Это странное, странное прошлое; *Он же*. Тенденции переосмысления; *Он же*. Иная история (Вместо послесловия к статье П. Фридмана и Г. Спигел) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2000 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 3. М., 2000. С. 165–177.

<sup>83</sup> Бессмертный Ю. Л. Коллизия микро- и макроподходов; см. также: *Он же*. Как писать историю. Французская историография в 1994–1997 гг.: методологические веяния. М., 1998 [Препринт.]; *Он же*. Как же писать историю? Методологические веяния во французской историографии 1994–1997 гг. // Новая и новейшая история. 1998. № 4. С. 29–42.

<sup>84</sup> Поскольку тексты докладов были распространены заранее, участники конференции могли сосредоточиться на дискуссии вокруг них.

<sup>85</sup> Баткин Л. М. Заметки о современном историческом разуме.

<sup>86</sup> Как вспоминает О. И. Тогоева, метафора «Смотреть в оба!» обсуждалась и как возможное название самого сборника материалов конференции, названного в итоге «Историк в поиске». Замечу, однако, что в конкретных исследованиях Ю. Л., как мы это видели уже в «Жизни и смерти», число объяснительных перспектив – уровней рассмотрения – не сводилось к двум, это было сопоставление и взаимоналожение ряда ракурсов, которые лишь в самом общем плане могли быть распределены между макро- и микро-.

<sup>87</sup> Имя Ирвина Гофмана иногда транскрибировали как «Эрвин» (отсюда «Э. Гофман» в тексте доклада Ю. Л.), позднее как «Ирвинг».

<sup>88</sup> Основополагающий для этого направления труд был, ценою долгих усилий, переведен на русский: Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов [Пер. с фр. О. В. Ковенева]. М., 2013.

зал, как происходит сдвиг интереса от исследований массового и «сериального» к исследованиям конкретного индивида и конкретных «ситуаций» в конкретных трудах самых авторитетных для его среды и его времени историков: Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа, Н. Земон Дэвис, Р. Дарнтон (последний представлял, кажется, относительно новую фигуру в этом ряду). Концептуально было подчеркнуто два аспекта: а) уже упомянутое выше рассуждение об обращении к конкретному индивиду и отдельному казусу (ситуации) как некоей «самодостаточной тотальности», «позволяющей осмыслить сущностное», однако «не сводя его к *усредненному*»; и б) неслиянность микро- и макроперспектив исследования, поскольку они требуют разных (даже логически разных) исследовательских процедур. Иными словами, по мысли Ю. Л., рассмотрение индивида как такой тотальности «сочетает – *хотя и не сливает!* – анализ индивидуального и [анализ] массового»<sup>89</sup>.

Тем самым была отчетливо поставлена проблема исторического обобщения, не сводимого при таком взгляде к привычному восхождению от частного к общему<sup>90</sup>. Речь шла о том, чтобы найти способ поместить конкретный казус в исторический контекст (поскольку замкнуться в описании «изолированных казусов» означало бы «конец истории как способ осмысления прошлого»<sup>91</sup>), но при этом не утратить его специфики и уникальности, – иными словами, о поисках исследовательского пути между Сциллой «образца» (открывающего в казусе лишь типичное и серийное, «репрезентативное») и Харибдой «анекдота» (истории-*story*, ни о чем, кроме как о самой себе, не говорящей). Характерно, что в обоих этих докладах Ю. Л. возвращается к размышлениям о противоположности микро- и макроподходов как своего рода кальке апории «жизни» и «науки» (и возвращает ссылки на труды Г. С. Кнабе, развивая их обращением также к К. Гинзбургу, З. Кракауэру и др.<sup>92</sup>) – хотя продолжает одновременно использовать и идеи Л. М. Баткина.

Именно эта проблематика, основанная фактически на поисках выхода за пределы традиционного соотношения индукции и дедукции как способов перехода от общего к частному и обобщения в историческом исследовании, и была заострена в переиздаваемом здесь заключительном докладе «Многоликая история». Ю. Л. вновь подчеркивал противостояние единичного и массового, отражающееся в неслиянности нацеленных на исследование каждой из этих сфер микро- и макроподходов, как и непремennую востребованность обеих этих перспектив, разрешающуюся в исследовательской практике историка лишь по принципу *дополнительности* (понятие, восходящее к принципу интерпретации квантовой механики Н. Бора). Это сочетание различного и делало историю «многоликой».

В дальнейшем, как мы уже видели, Ю. Л. продолжит размышления о множественности понимания истории в серии статей о «странном прошлом»<sup>93</sup>. Тут акцентировалось «*сосуществование*» разных вариантов исторического знания, того, которое исходит из функционального единства всех элементов общественного целого, и того, которое признает его „недостаточную системность“, дискретность, прерывность и возможность существования внутри этого целого „разъемов“, автономных фрагментов, „чужеродных элементов“, незапрограммированных казусов и пр.»<sup>94</sup>. Такое видение и заставляло Ю. Л. говорить о переосмыслении самого предмета исторического знания, которое лежало в основе казусного подхода.

<sup>89</sup> Бессмертный Ю. Л. Коллизия. С. 25.

<sup>90</sup> Подробнее: Копосов Н. Е. О невозможности микроистории. Ср. в статье, к которой Ю. Л. после ее критики в 1992 г., кажется, больше не возвращался: «Каждый масштаб „работает“ на свой уровень объяснения (вот почему вопрос, поставленный микроисторией, это не вопрос репрезентативности, которая предполагает гомогенность варьирующихся объяснений (*variables explicatives*), но вопрос обобщения)» (Tentons l' experience. P. 1321, перевод и курсив мои. – О. Б.).

<sup>91</sup> Бессмертный Ю. Л. Коллизия. С. 18.

<sup>92</sup> Бессмертный Ю. Л. Многоликая история.

<sup>93</sup> Бессмертный Ю. Л. Иная история; *Он же*. Это странное, странное прошлое; *Он же*. Тенденции переосмысления.

<sup>94</sup> *Он же*. Тенденции переосмысления. С. 155.

Важный аспект этого иного видения, как заметно хотя бы в приведенной цитате, составляла, конечно, фрагментация истории, проблема, чуть ли не набившая тогда, при всей ее важности, оскомину (отчасти, может быть, из-за ее неразрешимости<sup>95</sup>). Однако суть такого переосмысления не сводилась к фрагментации. Кажется парадоксальным, что историк, столь упорно во всех предыдущих трудах взыскующий исторического синтеза, мог теперь быть воодушевленным этой «фрагментацией». Но именно «разъемы» и «зазоры» в общественных системах и структурах оставляли при таком видении пространство индивидуальному выбору и проявлениям индивидуальной субъективности – как мы теперь бы сказали, *агентности* действующих лиц истории, индивидуальному вообще. Речь тем самым не сводилась к извечному вопросу о свободе воли (эта связь обсуждалась в дискуссиях о «Казусе»<sup>96</sup>). Вопрос об общественном резонансе индивидуальных поступков и, шире, о «переходе от единичного и индивидуального к массовому и общепринятому»<sup>97</sup> теперь требовал иначе видеть устройство целого; структуры не оставляли места индивидуальному (а потому Ю. Л. считал недостаточным и изучение отдельного лишь как свидетельства типичного). Вероятно, поиски способов сочетать микро- и макроподходы и были новым ракурсом стремления приблизиться к историческому синтезу, хотя он виделся как все менее достижимый (в одной из лекций Ю. Л. скажет «пресловутый синтез», не отрицая его важности, но отмечая нередкую невозможность его выстроить<sup>98</sup>).

Трудно не увидеть связь предложенной проблематики в целом с дискуссиями, которые прежде велись в среде советских «неофициальных» гуманитариев, медиевистов в особенности. Здесь заметны следы не только известной «дискуссии о личности», состоявшейся в семинаре А. Я. Гуревича по исторической антропологии и затем опубликованной в «Одиссее», где столкнулись в особенности позиции Гуревича и Баткина (утверждавшего, что личность – сугубо нововременное явление)<sup>99</sup>, но и более ранней и, кажется, менее известной, внутренней и преимущественно устной полемики сторонников истории ментальностей (включая Ю. Л.) против обращения Баткина к отдельным, притом исключительно выдающимся, «высоким» фигурам прошлого, как и против его мало верифицируемых методов исследования<sup>100</sup>. Переосмысление своих прежних позиций и характер теперешнего отношения к ним Ю. Л. отмечает в статье «Что за „Казус“?» вполне открыто. Однако кажется, что критика в адрес «Казуса», о которой я упоминала вначале, и раздавалась из пространства этих прежних дискуссий.

А. Я. Гуревич, как и многие, отрицал саму постановку проблемы противостояния микро- и макроподходов, ссылаясь на то, что исторический синтез достигается разными методами и основывается на переходах между конкретным и общим, и говорил о практической неосуществимости полноценного исследования отдельного индивида в Средние века в силу скудости источников, о которой Ю. Л. «превосходно знает» (не случайно, по мнению Гуревича, большинство микроисторических трудов было посвящено Новому времени). Это служило опровержению высказанной Ю. Л. критики в адрес истории ментальностей и исторической антропологии в целом, так что медиевисты оказывались обречены сосредотачиваться на исследовании

<sup>95</sup> Еще раз вспомним дискуссию вокруг статьи М. А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!».

<sup>96</sup> См.: Споры о «Казусе».

<sup>97</sup> См.: *Бессмертный Ю. Л.* Что за «Казус»?

<sup>98</sup> *Бессмертный Ю. Л.* Другое средневековье. С. 82.

<sup>99</sup> Поэтому речь в «Казусе» всегда идет об «индивиде», понятии нейтральном, а не об «индивидууме», понимавшемся в этой среде примерно так же, как «личность», то есть субъект с развитым самосознанием. См. ряд выступлений (в том числе Л. М. Баткина и А. Я. Гуревича) в разделе «Индивидуальность и личность в истории» // *Одиссей. Человек в истории* – 1990. М., 1990. С. 6–89; *Степанов Б. Е.* Тонкая красная нить: споры о личности и индивидуальности как зачин историографии 1990-х // *Новое литературное обозрение* 2007. № 1 (83) (на CD); ср.: *Плотищев Н.* От «индивидуальности» к «идентичности» (история понятий персональности в русской культуре) // *Новое литературное обозрение*. 2008. № 3 (91). С. 64–83.

<sup>100</sup> Говоря в статье «Что за «Казус»?» о долго сохранявшемся в историографии предпочтении изучать массовое и типичное, Ю. Л., вероятно, отсылает, в частности, и к этой дискуссии.

коллективных представлений<sup>101</sup>. Характерно, что и Ю. Л. в первой версии статьи «Что за „Казус“?» упоминал о сложности обращения к индивидуальному в отдаленные эпохи прошлого – не только в силу скудости необходимых для этого источников, но и из-за сомнений специалистов в самом существовании индивидуального в Средние века, – что потом было целиком из текста убрано, поскольку источники, неожиданным образом, во все большем числе теперь сообщали иное<sup>102</sup>. Л. М. Баткин, доброжелательно и иронично критикуя и возмущенную позицию Гуревича, и воодушевление Ю. Л. (как и выступления почти всех других участников конференции), развивал аргументацию, высказывавшуюся им прежде как об историческом синтезе, всегда остающемся лишь горизонтом каждого отдельного исследования, так и о неустранимом прогрессе в ходе истории и о том, что именно следует понимать под предложенной им в статье 1986 г. дополнительностью социологического и культурологического (бахтинского) подходов, а значит, и под индивидуальной уникальностью<sup>103</sup>. Ни тот ни другой критик не приняли (не услышали?) прочерченной Ю. Л. связи между отказом от гомогенного видения «общественного целого» и обращением к индивиду, чья субъективность и чей выбор существуют и за пределами социальных институтов, структур и систем, в их «разъемах».

Включение в это интеллектуальное пространство проблематики разных микроисторических направлений, в частности и социологически окрашенных, служило не только микроистории как таковой. Сами термины, привычные нам сегодня, такие как «дискурс», «конструирование», «актор» (тогда это слово еще не транслитерировалось и использовалось во французском написании *acteur*<sup>104</sup>), приходилось осваивать, контекстуализировать, вводить и оправдывать (а термин *agency* и вовсе оставался, кажется, еще за пределами этого пространства), да и имя К. Гинзбурга еще транскрибировалось как «Гинцбург»<sup>105</sup>. Поиски новых подходов к изучению прошлого не только у нас (а у нас, вероятно, вслед за «Анналами» – «новой историей» Ж. Ле Гоффа и «иной социальной историей» Б. Лепти) отражались в изобретении определенных истории (как дисциплины и как предмета), вроде «многолика» и «иная». Разумеется, поиски сопряжения этих подходов с обновлением проблематики советской «неофициальной медиевистики» были противоречивыми и остались незавершенными. Однако в целом, как мне представляется, казусный подход был в конечном счете нацелен на преодоление культурного (да и любого<sup>106</sup>) детерминизма, тогда у нас в той или иной версии преобладавшего, будь то история ментальностей, а. к. а. историческая антропология или, пусть существенно усложненный, европоцентристский прогрессизм Л. М. Баткина. Сопряжение казусного подхода с отказом от презумпций целостности и гомогенности социального целого, а значит, и от прямолинейности исторического обобщения – от своего рода «ориентализма» в отношении к прошлому, особенно к давним эпохам<sup>107</sup>, – вело и к отказу от идей о «неподвижной истории» и перемещению акцента на изменчивость внутри общества: вместо «общепринятого», свидетельствовавшего больше о «традиционном, усредненном, даже вневременном», исследова-

<sup>101</sup> Гуревич А. Я. Не «Вперед, к Геродоту!», а назад – к анекдотам // Историк в поиске. С. 234–239.

<sup>102</sup> Ср. об этом: Бессмертный Ю. Л. Несколько вводных замечаний. С. 7.

<sup>103</sup> Баткин Л. М. Заметки о современном историческом разуме.

<sup>104</sup> Характерно, что Ю. Л. поясняет этот термин в отдельной сноске, усматривая в нем связь с «новой критикой» в литературоведении и символические коннотации, выходящие за пределы простого значения «участники событий» (Бессмертный Ю. Л. Коллизия микро- и макроподходов. С. 27). Думается, это было преувеличением.

<sup>105</sup> По-видимому, первым сборником переводов (весьма поспешных) классических статей о микроистории, в том числе и К. Гинзбурга (Гинцбурга), или одним из первых, была книга под нейтральным названием: Современные методы преподавания новейшей истории. М.: ИВИ РАН, 1996.

<sup>106</sup> См. специально критику демографического детерминизма: Бессмертный Ю. Л. Новая демографическая история. С. 251.

<sup>107</sup> Характерен интерес Ю. Л. к тогда рождавшимся идеям о «медиевализме» (по аналогии с «ориентализмом») в исследованиях Средневековья, высказанным в статье: Фридман П., Спигель Г. Иное средневековье в новейшей американской медиевистике // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2000. С. 125–164; см. его послесловие к этой статье: Бессмертный Ю. Л. Иная история. Этот интерес в большой мере и стимулировал его статьи о «странном прошлом».

ние обращалось к «нестандартному поведению отдельных людей»<sup>108</sup>. И конечно, существенному преодолению подвергся прежний сциентизм; характерно, что роль *рассказа* историка и *интриги* в нем как значимых элементов исследования казусов не только и не столько служила расширению читательской аудитории благодаря возраставшей увлекательности анализировавшихся историй, сколько релятивизировала саму позицию исследователя, более не имевшего возможностей (да обычно и желания) «пророчествовать о прошлом»<sup>109</sup>.

Представляется, что многие аспекты этих споров остаются актуальными и сегодня. Но, может быть, главный «нестандартный» и важный сегодня аспект предложенного Ю. Л. подхода – это такая попытка взглянуть на способность индивида к выбору (*agency*) и к воздействию на окружающих – даже в Средние века! – которая предполагает не только включенность индивидуального в массовое и системное, но и их столкновение, конструируемое исследователем посредством различения и соположения микро- и макроперспектив в историческом исследовании. Может быть, способы перехода между этими перспективами – между индивидуальным, отдельным и общим, микро- и макро-, – всегда особенные и *индивидуальные* у каждого автора исторического исследования, включившегося в подобные поиски, и составляют в таком исследовании особенную эвристическую ценность.

---

<sup>108</sup> Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус»?

<sup>109</sup> Там же. С. 75.

## Часть 1

### Размышления о «Казусе», историческом знании и историках

**Ю. Л. Бессмертный**  
**Что за «Казус»?..**<sup>110</sup>

Читатель, взявший в руки этот альманах, вероятно, задумается над его названием. Что вкладывают в него редакторы и авторы? В классической латыни, к которой восходит слово «казус», оно могло обозначать и крах, и конец, и падение, и несчастье... Мы имеем в виду совсем иной смысл этого слова: случай, происшествие, событие. Именно такое словоупотребление казуса чаще всего можно встретить в современных европейских языках, включая и русский. Каждое из приведенных значений может в свою очередь быть истолковано по-разному: например, случай исключительный, неожиданный или же случай банальный, ординарный; случай как конфуз и случай как образец и т. п. Эта многозначность «казуса» найдет свое отражение в статьях нашего альманаха. Однако она не должна заслонить и то общее, что сближает самые разные «случаи», объединяя их все под одним понятием.

Это понятие подразумевает при разговоре о прошлом прежде всего нечто конкретное, поддающееся более или менее подробному описанию. Выбирая название для нашего альманаха, мы имели в виду среди прочего этот простейший смысл слова «казус». Нам хотелось ответить на легко осязаемую в среде читающей публики потребность увидеть общество прошлого возможно более конкретно. Такое видение естественно предполагает рассказ о самых различных «случаях», наполняющих человеческую жизнь. Выявить их в источниках, говорящих о прошлом, рассмотреть их во всех подробностях, дать читателю возможность почувствовать с их помощью аромат времени – такова ближайшая (хотя и не главная) задача всех наших авторов. И здесь первое объяснение названия нашего альманаха.

Надо ли, однако, говорить, что, если бы мы ограничились простым рассказом о различных казусах, нам грозила бы опасность превратить альманах в собрание исторических анекдотов, быть может забавных, но вряд ли провоцирующих думающего читателя на серьезные размышления. Такого рода *рассказывающая история* уже существовала в прошлом веке. Историк выступал в ней в роли всезнающего рассказчика, повествующего о днях былых с уверенностью очевидца. Исследователю тогда явно недоставало рефлексии над своеобразием исторических текстов (всегда содержащих некую интерпретацию прошлого авторами этих текстов) и собственной деятельностью. Фиаско этой истории относится еще к началу XX столетия, когда выяснилась ее ограниченность и недостаточность.

Изучая отдельные казусы, мы стремились учесть не только этот урок. Сознвая сугубо относительную достоверность любого сообщения о прошлом, мы будем интересоваться не только самими казусами, но и обстоятельствами, побудившими составителя исторического памятника избрать ту или иную версию случившегося. Выбор этой версии – тоже «казус», и притом заслуживающий не меньшего внимания, чем самое случившееся: как и любой поступок индивида, избранная автором источника позиция может пролить свет на роль в прошлом

---

<sup>110</sup> Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус»? Индивидуальное и уникальное в истории – 1996 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 1. М., 1997. С. 7–24.]

действий отдельно взятого человека, уяснить которую нам особенно бы хотелось. (И в этом еще одно объяснение нашего интереса к казусам.)

Выбор человеком конкретной линии своего поведения мог порождать казусы разного типа. В одних «случаях» люди осознанно (или неосознанно) действовали в согласии с принятыми в данной общественной среде правилами, ориентируясь на массовые представления о должном и запретном. Поступки таких людей – это казусы, воплощающие господствующие в обществе стереотипы. Встречались, однако, люди, для которых подобное конформное поведение почему-либо оказывалось невозможным. Одни из них осмеливались пренебрегать обычаями, нарушать законы; другие, наоборот, стремились реализовать в обыденной жизни то, что считалось недостижимым идеалом. Почти всегда тот, кто решался на нестандартный поступок, вступал на трудную тропу. Нередко ему грозило прямое или скрытое осуждение окружающих или даже активное противодействие с их стороны. Казусы этого рода представляют, на мой взгляд, особенный интерес. Кто чаще всего на них решался? Какие обстоятельства могли этому способствовать? Анализ таких казусов смыкается с рассмотрением проблемы, привлекающей интерес многих наших современников, – проблемы возможностей, которые существовали у индивида в разных обществах<sup>111</sup>. Что мог в те или иные периоды прошлого отдельно взятый человек? Могли ли его поступки изменять принятые в обществе поведенческие стереотипы? Доступно ли это для так называемых рядовых людей?..

Анализ подобных вопросов тесно смыкается также с изучением общественного резонанса уникальных и случайных событий. Неординарные поступки отдельных индивидов могли быть среди предпосылок их возникновения. Взрывая рутину, такие поступки именно из-за своей нестандартности привлекали к себе внимание современников и невольно побуждали их задумываться над укоренившейся традицией. Если неординарное поведение какого-либо индивида вызывало подражание других, сложившееся в данном обществе равновесие тенденций могло оказаться под угрозой: возникало «состояние неустойчивости», благоприятствовавшее возникновению тех или иных новых явлений, в том числе и в сфере поведенческих стереотипов<sup>112</sup>. Очевидно, что современный исследователь не может не интересоваться тем, какие условия в разные периоды прошлого способствовали такому резонансу уникальных казусов (включая в их число и нестандартные поступки отдельных индивидов). И в этом еще одно оправдание выбора проблематики нашего альманаха.

Эта проблематика в ряде аспектов отличается от традиционной для последних десятилетий. Едва ли не целое столетие в мировой исторической науке почти неуклонно нарастали тенденции ко все более углубленному анализу больших социальных структур, долговременных процессов, глобальных закономерностей. Историки искали способы формализации исторических данных, чтобы иметь возможность переходить от частных наблюдений ко все более общим. Агрегируя частные показания разных источников, они формировали «сериальные» данные, надеясь с их помощью уяснить пути развития целых классов, сословий, больших профессиональных (или производственных) групп. У многих исследователей сложилось убеждение, что подлинная история – это в первую очередь история больших масс, молчаливого

---

<sup>111</sup> Это, однако, не означает, что роль индивидов в социальной практике высвечивают только случаи явно девиантного поведения. Не приходится недооценивать и те ситуации, в которых принятые в обществе правила допускали одновременно несколько разных вариантов поведения. В таких случаях не меньшее познавательное значение имел выбор одного из возможных сценариев действий.

<sup>112</sup> Сорос Дж. Алхимия финансов. М., 1996. С. 53: «Мы можем разделить события на две категории: обыкновенные, повседневные события, правильно предвосхищаемые участниками, и уникальные исторические события, которые влияют на предпочтения участников и ведут к дальнейшим изменениям...» Специфика «состояния неустойчивости» и возникающие при этом бифуркации интенсивно исследуются в последнее время в рамках синергетики (см.: Пригожин И., Стенгерс И. Стрела времени // Вестник РГГУ. 1996. № 1. С. 58).

большинства, история ведущих тенденций, пробивающих себе дорогу сквозь любые частные отклонения, история средних цифр, «среднего человека»<sup>113</sup>.

Те же сериальные данные легли в основу и такого яркого цветка науки XX в., как история ментальностей. Раскрывая присущие разным обществам модели мира, история ментальностей освещала массовые представления, которыми люди могли руководствоваться в тот или иной период в своих действиях. Однако, выявляя эти общие *возможности* поведения (или, говоря иначе, поведенческий инвариант), ментальные исследования по необходимости ограничивались характеристикой того, что *могло* быть присуще всем вообще, индивидуальные же особенности кого бы то ни было в отдельности оставались нераскрытыми.

До поры до времени недостаточность этого подхода не слишком бросалась в глаза. Еще совсем недавно казалось более чем оправданным вопрошать: «Что вы ищете в истории – уникальное или типическое? Нацелено ваше внимание на выявление неповторимого или же на раскрытие тех понятийных форм, „матриц поведения“, „моделей мира“, которые таились даже и за этими уникальными цветами культуры?» Ответ на эти вопросы подразумевался сам собою, ибо матрицы поведения казались обладающими несравненно большей познавательной ценностью, чем уникальное<sup>114</sup>.

Я далек от того, чтобы недооценивать подобные подходы к пониманию прошлого. И объясняется это не только тем, что я сам их долгое время разделял и защищал. Вряд ли нужно доказывать, что выявить и уяснить индивидуальное и уникальное можно, лишь зная массовое и стереотипное.

Еще десять лет тому назад Л. М. Баткин в ставшей классической статье «О двух способах изучать [историю] культур[ы]»<sup>115</sup> сформулировал принцип «дополнительности» двух методов: социологического анализа массовой деятельности и культурологического анализа индивидуального и субъективного. К сожалению, реализовать этот принцип удавалось до сих пор крайне редко. И одна из важнейших причин, на мой взгляд, – в недооценке познавательной ценности нестандартного поведения отдельных людей. Осознанно или неосознанно, в анализе такого поведения обычно видят нечто второстепенное, способное лишь подтвердить противостоящий стандарт. Между тем в исключительных и уникальных казусах может раскрываться нечто гораздо более важное. Речь идет об уяснении *культурной уникальности* времени.

Ее трудно уяснить, ограничиваясь анализом того, что чаще всего встречается. В общепринятом, стандартном поведении немало элементов традиционного, усредненного, даже вневременного. Сквозь них непросто рассмотреть то, что *особенно* как раз для данной эпохи. Иное дело казус, который позволяет увидеть пусть лишь одного-двух ее современников, но с полнотой, достаточной для осмысления их специфических чаяний и приоритетов. Конечно, это не подменяет анализ господствующих структур и процессов, но в то же время невиданно приближает к тому Другому, которого стремится рассмотреть в прошлом всякий историк. Более того, создаются предпосылки для *прорыва* в познании культурного универсума исследуемой эпохи: ведь в том «*особенном*», что раскрывается в уникальных казусах данного времени, полнее всего проступает своеобразие исторического мира культуры, в каковом, по выражению Л. М. Бат-

<sup>113</sup> Vovelle M. Histoire sérielle ou «case studies»: vrai ou faux dilemme en histoire des mentalités // Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités. P., 1985. P. 41-42.

<sup>114</sup> Гуревич А. Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории культуры // Одиссей. Человек в истории – 1990. М., 1990. С. 87; ср.: Ginzburg C. Mikro-Historie. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß // Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag. 1993. № 1. S. 181, n. 49: «...в противовес недифференцированному понятию „коллективная ментальность“ я настаиваю на важности исследования мыслительных представлений каждого отдельного индивида» [рус. пер.: Гинзбург К. Вместо заключения. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: морфология и история. Сб. статей / Пер. и послесл. С. Л. Козлова. М., 2004. С. 287-320]; см. также: Chartier R. Histoire intellectuelle et histoire des mentalités // La sensibilité dans l'histoire. Clamecy, 1987. P. 26 [рус. пер.: Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? // Новое литературное обозрение. 2004 № 2 (66).].

<sup>115</sup> Баткин Л. М. Два способа изучать историю культуры // Вопросы философии. 1986. №. 12. С. 101-115.



кина, «нет никакого всеобщего, кроме особенного»<sup>116</sup>. С этой точки зрения изучение отдельных казусов, освещающих поступки и действия хотя бы немногих персонажей прошлого, представляется одним из перспективнейших на сегодня инструментов познания прошлого. Нужно ли еще дополнительно оправдывать появление издания, специально посвященного индивидуальному, уникальному и вообще казуальному в истории?

Изучение таких казусов вписывается в относительно новую научную тенденцию к пересмотру сложившихся в XX в. подходов к изучению прошлого. Эта тенденция характерна для нескольких вновь сложившихся или же переживающих глубокую внутреннюю перестройку историографических школ. Их работа, несомненно, стимулирует наше начинание. Без осмысления степени нашей близости к этим направлениям в науке и, наоборот, наших различий обойтись невозможно. Только уяснив эти сходства и различия, удастся раскрыть и своеобразие нашего собственного подхода.

Еще в 1985 г. известный французский историк Мишель Вовель, обозревая развитие исторических штудий в предыдущее десятилетие, писал о назревшей потребности в индивидуализации стереотипов. Отмечая нарастающую неудовлетворенность синтетическими построениями в истории, не только «огрубляющими» видение прошлого, но и «мистифицирующими» читателя кажущейся ясностью исторической ретроспективы, Вовель констатировал, что в глазах ряда исследователей переход к «использованию микроскопа» в истории выступает как «эпистемологическая необходимость». Вовель связывал такой переход с новым этапом в развитии исторического знания, с возвратом на новых основах к качественному анализу (в противовес количественному), с поиском более аутентичного облика прошлого<sup>117</sup>.

Одну из форм реализации этой эпистемологической необходимости можно найти в исследованиях, предпринимавшихся с конца 70-х гг. некоторыми молодыми в ту пору итальянскими историками, называвшими свое направление «микроисторией»<sup>118</sup>. Хотя их взгляды были далеко не едиными, этих исследователей роднило то, что они стремились противопоставить распространенной в Италии этого времени «риторической» концепции истории как науки о глобальных, вековых колебаниях в развитии человеческих обществ гораздо более скромную по своим задачам концепцию исторического познания. Все они отличались пристрастием к выбору очень небольших исторических объектов: судьба одного конкретного человека, события одного-единственного дня, взаимоотношения в одной отдельно взятой деревне на протяжении относительно небольшого периода. Каждый из таких объектов рассматривался в очень крупном масштабе. Исследование не привлекавших раньше внимания подробностей позволяло увидеть этот объект в принципиально новом свете, рассмотреть за ним иной, чем виделся предшествующим поколениям исследователей, круг явлений.

Правда, возможности генерализации собранных наблюдений оказывались здесь под вопросом. Еще менее ясным представлялся способ включения изученного микрообъекта в более широкий социальный контекст. Неразработанной оставалась и концепция индивидуальности, неповторимости предмета исследования. Но зато конкретность и полнота анализа создавали предпосылки для изучения причин и мотивов поступков всех «действующих лиц»<sup>119</sup>.

<sup>116</sup> Баткин Л. М. Леонардо да Винчи. М., 1990. С. 22.

<sup>117</sup> Vovelle M. Histoire sérielle ou «case studies». Р. 44.

<sup>118</sup> О ранней истории этого направления см. в цитированной выше статье К. Гинзбурга (*Ginzburg C. Mikro-Historie*. S. 173 ff.), а также в статье Э. Гренди, публикуемой в настоящем альманахе [то есть в первом выпуске «Казуса». – Авт. – сост.]. [Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1996. М., 1997. С. 291–302]. Библиографию работ этого направления см.: Бессмертный Ю. Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории // Одиссей. Человек в истории – 1995. М., 1995. С. 10 и след.

<sup>119</sup> В 80-е гг. ранняя итальянская микроистория выступала в некотором смысле как антагонист англо-американской культур-антропологии (представленной в первую очередь трудами Клиффорда Гирца и его школы) с характерным для нее в ту пору увлечением количественными методами. См.: Lepetit B. De l'échelle en histoire // Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience. Р., 1996. Р. 78. Однако в 90-е гг. картина существенно меняется и в англо-американской историографии постепенно форми-

К этой ранней итальянской микроистории близка по обстоятельствам возникновения и некоторым подходам немецкая *Alltagsgeschichte*<sup>120</sup>. Ее складывание относится к середине 80-х гг., когда несколько разных по своим научным и политическим взглядам групп молодых историков выступили против господствовавших в послевоенной немецкой историографии методологических концепций. Их критика была направлена (как и в Италии) против преувеличения возможностей глобальных подходов в понимании прошлого, против безудержного научного оптимизма, а также против того варианта немецкого историзма, которому было свойственно преимущественное внимание к повторяющемуся и закономерному. Критикуя слепое следование англосаксонским традициям в понимании социальной и институциональной истории, демократически настроенные сторонники *Alltagsgeschichte*<sup>121</sup> сочувственно относились к историко-антропологическим подходам французской школы «Анналов». Особое внимание уделялось также изучению действий и сознания «маленьких людей» и их роли в «большой истории». Именно в этом направлении с особой силой проявилась тенденция разрабатывать историю «снизу» (*Geschichte von unten*), с тем чтобы раскрыть своеобразие (*Eigensinn*) каждого отдельного субъекта, его способность быть творцом собственной истории, а не только игрушкой в руках надличностных сил и структур<sup>122</sup>.

Важной особенностью *Alltagsgeschichte* можно считать подчеркиваемое всеми ее сторонниками стремление опираться при изучении прошлого на так называемый экспериментальный подход, провозглашавшийся также последователями итальянской микроистории. Суть его специально не разъясняется, но, как показывает знакомство с конкретными исследованиями, под ним подразумевается установка на отказ от любых априорных суждений и постулатов. Историки этого направления считают основой анализа конкретные исследовательские опыты, которые как бы сами по себе должны раскрыть и своеобразие изучаемых индивидов как таковых, и их связи и взаимосвязи, и наиболее эффективные исследовательские приемы.

На этом же зиждется и подход ряда историков данного направления к проблеме взаимодействия микро- и макрообъектов, которой они уделяют гораздо большее внимание, чем итальянские последователи микроистории в прошлом десятилетии. Эта проблема решается, однако, разными историками далеко не однозначно. Одни удовлетворяются констатацией взаимосвязи микрообъекта с его социальным «контекстом», возникающей уже в силу простой включенности каждого индивида в то или иное локальное сообщество (Ю. Шлюмбом, П. Критде). Другие делают упор на то, что *всестороннее* изучение индивида само собой предполагает выявление его социальных взаимосвязей и зависимостей, как и влияния на него тех или иных социальных факторов (Х. Медик). Третьи ставят проблему шире и говорят о том, что всякий индивид, хочет он того или нет, вынужден так или иначе интерпретировать свои взаимоотношения с макросообществами, членом которых он оказывается; соответственно, всякий исследователь микроказуса, анализирующий действия индивида, в состоянии воспроизвести не только собственный мир этого индивида, но и трактовку последним его связей с более широким социальным универсумом; в результате «из изучения самой социальной практики отдель-

---

руется новое направление «биографической», или «персональной», истории (см.: Ретина Л. П. Персональная история: биография как средство исторического познания // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1999. М., 1999. С. 76–100), во многом близкое современным итальянским и французским течениям (см. ниже).

<sup>120</sup> Я оставляю название этого направления без перевода, чтобы не создавать иллюзию его тождественности французской *Histoire de la vie quotidienne*. Об основных особенностях этого направления см.: *Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen* / Hrsg. von A. Lüdtke. Frankfurt a. M., 1989.

<sup>121</sup> Внутри этой школы существует и правоэкстремистское крыло, возглавляемое историком реваншистской ориентации Эрнстом Нольте.

<sup>122</sup> Lüdtke A. (Hrsg.) *Alltagsgeschichte*. S. 8; Werner M. Proto-industrialisation et *Alltagsgeschichte* // *Annales*. HSS. 1995. № 4. P. 719; Schlumbohm J. Quelques problèmes de micro-histoire d'une société locale. Construction de liens sociaux dans la paroisse de Beim (XVIIe – XIXe siècles) // *Ibid*. P. 801.

ных людей выявляются невидимые извне социальные структуры», характеризующие взаимодействие индивида и его социальной среды (А. Людке).

Показательно, что для всех этих вариантов характерно понимание отдельных казусов как более или менее *типичных* для рассматриваемого аспекта прошлого. Это, конечно, облегчает выход на проблему взаимодействия *микро* и *макро*, единичного казуса и целостности. В то же время подобный подход существенно затрудняет возможность анализа подлинно уникального, индивидуального, нестандартного. Ведь основное внимание уделяется повторяющимся, *типичным* феноменам, а не исключениям, в которых воплощалось неординарное поведение отдельных индивидов.

Однако в спорах вокруг *Alltagsgeschichte*, продолжающихся по сей день (и, может быть, даже усилившихся в самые последние годы), обсуждается не только мера исключительности и индивидуальности рассматриваемых казусов. Некоторые критики ставят под вопрос самую оправданность проводимого сторонниками этого направления противопоставления *макро* и *микро*. Отмечается, что существование этой дихотомии было известно со времен Аристотеля, что многим поколениям философов и историков уже не раз приходилось констатировать важность изучения малых и мельчайших объектов, так же как продуктивность познания любых тотальностей через *переход от частного к целому*, и что поэтому в современном повороте ряда исторических школ к специальному изучению микрообъектов нет ни чего-либо нового, ни даже чего-либо продуктивного<sup>123</sup>.

Мне кажется, что эта критика не учитывает своеобразия сегодняшней постановки вопроса о макро- и микроанализе в изучении прошлого. Вечность данной дихотомии не смогла почему-то на протяжении многих десятилетий XX в. воспрепятствовать явному крену в истории в изучение массовых явлений. Этот крен оказался неразрывно связанным и с фактическим признанием детерминированности и телеологичности исторического процесса, его подчиненности надличностным силам и структурам. И это было характерно не для какой-нибудь одной, идеологически зашоренной научной школы, но для многих (если не большинства) историографических направлений<sup>124</sup>. Что-то глубинное в подходах историков мешало в эту пору осмыслить потребность в соразмерном исследовании и *макро* и *микро*. Что-то заставляло многих и многих историков истолковывать вечную истину о продуктивности принципа отправляться от частного при изучении исследуемых явлений лишь в том смысле, что прошлое следует воссоздавать по крупицам, разбросанным везде и повсюду, без обязательной их привязки к конкретным людям. Что-то побуждало считать, что целое в истории может быть как бы суммой равноценных частных слагаемых.

Это «что-то» заслуживает специального внимания. По-видимому, речь идет прежде всего о некоторых имманентных потребностях научного анализа, соответствовавших имевшимся в начале и середине XX в. исследовательским возможностям и отвечавших общим запросам гуманитарного знания того периода.

И то и другое испытало в последние годы глубокую перестройку. Новые интересы, новые обстоятельства, о которых я уже упоминал выше, побуждают к смене ряда подходов. Разумеется, разные научные школы воспринимают это веление времени не сразу и не одновременно. Для некоторых из них это вообще оказывается невозможным, так как расходится с их основополагающими установками. Но тут уж ничего не поделаешь. К тому же, не впадая в крайний релятивизм и не ставя под сомнение реальность исторического прошлого, нельзя

---

<sup>123</sup> Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine Diskussion / Hrsg. von W. Schulze. Göttingen, 1994 (см. особенно статьи Ю. Кокки, У. Даниель и В. Гартвиг); Oexle O. G. Nach dem Streit. Anmerkungen über «Makro-» und «Mikrohistorie» // Rechtshistorisches Journal. Frankfurt a. M., 1995. № 14. S. 191-200.

<sup>124</sup> Этот крен критикуют сегодня не только сторонники немецкой *Alltagsgeschichte* или итальянской микроистории, но и представители школы «Анналов», непосредственно причастные к разработке и внедрению в исторические исследования ряда макроисторических подходов (см. ниже).

не иметь в виду, что это прошлое не есть нечто сохранившееся раз и навсегда: всякий раз заново реконструируемое, оно поддается восприятию не в рамках какой бы то ни было одной-единственной концепции, но только на основе некоторой их совокупности<sup>125</sup>. Такой плюрализм ничуть не исключает необходимости критического отношения к каждой из этих концепций. Прав О. Г. Эксле, выступающий против «бесхребетного историзма» (Эксле заимствует это выражение у Вернера Гофмана), «который не способен ничего отвергнуть, потому что он ко всему стремится отнестись с пониманием»<sup>126</sup>.

Применительно к рассматриваемой историографической ситуации это означает оправданность не только сочетания всюду, где это возможно, макро- и микроанализа, но и трезвого соизмерения плодотворности того или иного из этих подходов в разных исследованиях и на разных этапах развития историографии. Не приходится также забывать, что параллельное их применение выступает как труднодостижимый идеал<sup>127</sup>. Ведь взгляд на какой бы то ни было феномен прошлого «с близкого расстояния» не способен воспроизвести одновременно и «общий план»: для этого нужен совсем иной «объектив», который, увы, будет скрадывать детали. В то же время трудно не заметить, что на разных этапах историографии интенсивность использования этих двух вариантов анализа не остается неизменной, подчиняясь как внутренним потребностям развития исторической науки, так и запросам общества. Именно они определяют необходимость сегодняшнего акцента на исследовании индивида и на анализе его субъективного миропонимания.

В контексте всего сказанного легче уяснить возникновение и особенности наиболее выраженного в современной историографии поворота к изучению индивидуального и казуального, который происходит с конца 80-х гг. во Франции. Попытки осмыслить ситуацию, сложившуюся к этому времени в мировой исторической науке, отличались здесь, пожалуй, наибольшей глубиной. Не случайно развернувшиеся во Франции дискуссии втянули и историков других стран, в первую очередь итальянских сторонников микроистории и немецких последователей *Alltagsgeschichte*, и подтолкнули их к известному уточнению или изменению собственных позиций<sup>128</sup>. Главную лепту в обсуждение данной проблематики внесли дискуссии в известной всем специалистам школе «Анналов».

О необходимости пересмотра использовавшихся парадигм редакторы «Анналов» открыто заговорили в 1988 г.<sup>129</sup> Позднее весь период с конца 70-х гг. будут называть в этом журнале временем «эпистемологической анархии», «периодом сомнений и растерянности» или – еще резче – эпохой «кризиса»<sup>130</sup>. Этому времени, именуемому ныне в «Анналах» первым

<sup>125</sup> Ginzburg C. Mikro-Historie. S. 188-189; Revel J. Présentation // Jeux d'Échelles. P. 10-13; Lepetit B. De l'échelle en histoire. P. 91-93; Kortüm H. Menschen und Mentalitäten. Einführung in Vorstellungswelten des Mittelalters. B., 1996. S. 14; Lahire B. La variation des contextes dans les sciences sociales. Remarques épistémologiques // Annales. HSS. 1996. № 2. P. 399.

<sup>126</sup> Эксле О. Г. Немцы не в ладу с современностью. «Император Фридрих II» Эрнста Канторовича в политической полемике времен Веймарской республики // Одиссей. Человек в истории – 1996. М., 1996. С. 216.

<sup>127</sup> Ginzburg C. Mikro-Historie. S. 181: «Недавно М. Вовель отверг альтернативу между сериальным исследованием и анализом истории отдельного индивида как ложную. В принципе я с этим согласен. Но на практике эта альтернатива возникает...»

<sup>128</sup> Как уже отмечалось выше, эта общая тенденция находит свое выражение и в так называемой персональной истории, развивающейся в последние годы, в частности, в Англии и США.

<sup>129</sup> См. нашу статью: Школа «Анналов»: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории – 1991. М., 1991. С. 7–24.

<sup>130</sup> Revel J. Micro-analyse et construction du social // Jeux d'Échelles. P. 18: «Модель социальной истории (восходящая к Симиану, Блоку, Февру, Лабруссу и Броделю) начала переживать кризис на рубеже 70–80-х гг., то есть – по странной иронии судьбы – в момент, когда она, казалось, переживала свой наивысший триумф... Осознание кризиса наступало очень постепенно, так что нельзя с уверенностью сказать, что большинство историков и сегодня это поняли» [перевод цитаты Ю. Л. Бесмертного; рус. пер. статьи Ревеля: Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории – 1996. М., 1996. С. 110–127]; см. также: Desrosières A. La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique. P., 1993; Delacroix Ch. La falaise et le rivage. Histoire du «tournant critique» // Espaces Temps. P., 1995. № 59-61. P. 87-109; Dodier N. Les sciences sociales face à la raison statistique // Annales. HSS. 1996. № 2. P. 410; Kortüm H. Menschen und Mentalitäten. S. 22. Небезынтересно отметить, что, когда в 1989 г. я выступил с тезисом о кризисе школы «Анналов», моя точка зрения была оспорена как руководителями этой школы (включая Ж. Ревеля), так и моими соотечественниками (см.:

периодом «критического пересмотра», противопоставляют его второй период – середину 90-х гг., характеризуемую как этап утверждения новых подходов к изучению прошлого, как время рождения «*другой социальной истории*»<sup>131</sup>.

Главное отличие этой истории, говоря словами Бернара Лепти, одного из инициаторов ее разработки, – в изменении самого предмета исторического исследования. Раньше под таким понималось общество как совокупность «структур большой длительности» (экономических, идеологических, культурных, ментальных и т. д.). В рамках новой социальной истории общество рассматривается как «продукт взаимодействия участников общественных процессов», как «социальная практика действующих в этих процессах лиц» (*acteurs*); иначе говоря, общество предлагается изучать не через посредство безликих и более или менее малоподвижных его составных элементов (таких, как экономика, культура, ментальность), но через прямое наблюдение над взаимодействием субъектов исторических процессов, как[им] оно складывается в каждой конкретной ситуации. Преимущество этого ракурса усматривается, во-первых, в том, что в центре внимания оказываются *конкретные индивиды*, во-вторых, в том, что берется установка на изучение постоянно *меняющихся ситуаций* конкретной практики, в-третьих, в том, что воздействие базовых общественных структур (экономики, идеологии и пр.) исследуется не абстрактно, но через их влияние на конкретных субъектов, способных испытывать и преобразовывать это воздействие *сугубо индивидуально*<sup>132</sup>.

По мысли сторонников этого подхода, на его основе можно с недоступной никогда в прошлом полнотой реконструировать индивидуальные стратегии отдельных участников исторического процесса и их биографии. Ведь исходным материалом оказывается «*прагматическое положение*» каждого человека, его индивидуальные особенности, а не, как прежде, его принадлежность к той или иной из больших социальных или производственных групп (класс, сословие, профессия и пр.). Не случайно второй этап «критического пересмотра» частенько именуется в «Анналах» «прагматическим поворотом» (или «праксиологическим» – от слова *praxis* = практика – поворотом)<sup>133</sup>.

В качестве характерного примера Лепти приводит исследование, выявившее решающее значение для судеб ткачей южнофранцузских городов в начале XIX в. не столько их принадлежности к классу рабочих и не столько необходимости для них подчиняться действовавшему в то время законодательству, сколько [значение] их конкретных договоренностей с отдельными хозяевами, достигнутых в обход всех общих юридических и экономических установлений<sup>134</sup>. Ситуации подобного рода встречаются, по мнению Лепти, на каждом шагу, свидетельствуя о том, что прагматические обстоятельства и индивидуальные стратегии могут для конкретных индивидов быть гораздо важнее их общего социального статуса.

Хотя это наблюдение не вызывает у меня принципиальных возражений по отношению к Новому времени с характерным для него юридическим равенством контрагентов, я сомневаюсь, что оно равно актуально и для предшествующих периодов. В традиционных обществах прагматические ситуации тоже, конечно, влияли на положение индивида *внутри* каждого из социальных разрядов, но могли ли они устранить глубокие различия в правах и обязанностях людей, предопределенные их разным происхождением? Достаточно сравнить, скажем, статус средневековых рыцарей и современных им крестьян: часто ли прагматическое положе-

---

Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов» / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1993. С. 107, 118, 120 и др.).

<sup>131</sup> См. коллективный труд «Les formes de l'expérience» под редакцией Б. Лепти, в заголовок которого вынесено: «Une autre histoire sociale» [Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale / Sous la dir. B. Lepetit. P., 1995]; см. также работы, цитированные в предыдущем примечании.

<sup>132</sup> Lepetit B. L'histoire prend-elle les acteurs au sérieux // Espaces Temps. 1995. № 59-61. P. 112-122; *Idem*. Histoire des pratiques, pratique de l'histoire // Les formes. P. 10-16; Revel J. Présentation. P. 9-10; Dodier N. Les sciences sociales. P. 419 et suiv.

<sup>133</sup> Lepetit B. L'histoire. P. 112; Kortüm H. Menschen und Mentalitäten. S. 22.

<sup>134</sup> Lepetit B. Le présent de l'histoire // Les formes. P. 283-288; *Idem*. L'histoire. P. 118.

ние самого удачливого из крестьян позволяло ему смыть пятно сословного неполноправия?.. Вообще, своеобразие средневековых и древних обществ не находит пока, на мой взгляд, должного рассмотрения в дискуссиях об использовании микроанализа. Тем не менее плодотворность внимательнейшего отношения к прагматическому положению индивида не вызывает сомнений и по отношению к обществам отдаленного прошлого.

То же следует сказать и об акценте на изучении конкретных форм «согласия» (*accord*), которых достигают между собой те или иные индивиды в самых разных житейских ситуациях. Заимствованный у известных французских социологов Люка Болтански и Лорана Тевено<sup>135</sup> акцент на этом исследовательском подходе предполагает специальное изучение двусторонних соглашений, которые, с точки зрения их участников, были способны придать ореол «оправданности» (*justification*) и справедливости сложившимся договоренностям и связям или же формам поведения и представлениям<sup>136</sup>.

Такие временные соглашения представляют, с точки зрения Лепти, Гренье и других французских авторов, тем больший интерес, что они позволяют выявлять постоянно меняющиеся формы межличностных отношений. Подчеркивая важность анализа таких изменений, эти исследователи противопоставляют свой подход тому, который был характерен в недавнем прошлом для историков ментальности. Хотя конкретные имена называются редко, ясно, что имеются в виду такие ученые, как Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, А. Бюргьер.

В центре внимания последних были устойчивые, очень медленно меняющиеся или же неизменные на протяжении целых эпох социокультурные структуры и модели мира. Сторонники прагматического поворота отказываются признавать за этими структурами решающую роль в определении смысла социальных отношений; на их взгляд, этот смысл определяется всякий раз конкретной житейской ситуацией; абсолютизация же роли ментальных традиций и культурных штампов неизбежно ведет к недооценке изменчивости социальных отношений, к представлению о неподвижности или квазинеподвижности истории. На этой основе формулируются тезисы об оправданности «исторического поворота» (то есть акцента на изучении исторической изменчивости) во всех социальных науках и о необходимости пересмотреть те прежние суждения о прошлом, которые базировались на признании приоритета культурных традиций (и вытекающего отсюда акцента на изучении исторической статичности)<sup>137</sup>.

Как историку-практику мне не может не импонировать призыв к исследованию изменений в истории. Что может быть важнее этого сюжета! Однако оправданно ли при этом жертвовать ролью культурных традиций, игнорировать влияние преимущественно сохранявшегося варианта той или иной культуры?..

Особое внимание к конкретным формам согласия в обществе (вполне оправдывающееся общей установкой на первоочередное изучение повседневного опыта *acteurs*), естественно, побуждает сторонников данного направления отдавать решительное предпочтение микроисторическому подходу<sup>138</sup>. Однако при этом его трактовка по сравнению с тем, что было характерно для итальянских и немецких ученых, существенно изменяется.

Суть микроистории, на взгляд Ревеля, Лепти и их последователей, отнюдь не в простом сужении географических (или событийных) рамок исследования (хотя таковое имеет место). С их точки зрения, широко распространенная *локальная* история, как и *событийная* история, не имеет почти ничего общего с подлинным микроанализом. Ведь они ориентированы (как и

<sup>135</sup> Boltanski L., Thevenot L. De la justification. Les économies de la grandeur. P., 1991 [рус. пер.: Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов / Пер. с фр. О. В. Ковеневой; науч. ред. пер. Н. Е. Копосов. М., 2013].

<sup>136</sup> Lepetit B. Histoire des pratiques. P. 15; Idem. L'histoire. P. 120.

<sup>137</sup> См.: Бернар Лепети и Жан-Ив Гренье о журнале «Анналы» / Публ. и введ. Ю. Л. Бессмертного // Одиссей. Человек в истории – 1994. М., 1994. С. 318.

<sup>138</sup> Revel J. Présentation. P. 10-13.

сериальная макроистория) на изучение прежде всего социальной структуры и функциональной зависимости, которая связывает с этой структурой поведение тех или иных социальных групп и категорий: различие лишь в том, исследуются ли эти сюжеты в узколокальных или, наоборот, очень широких рамках. Новая микроистория отличается от макроистории (и любого ее локального или событийного варианта) самым предметом исследования. Это история автономно действующих субъектов, способных *выбирать* стратегию своего поведения, способных по-своему переформулировать имеющиеся установки; это *антифункционалистская* история, в которой, хотя и признается значение объективно существующих структур в жизни и поведении людей, [исследователи] исходят из возможности каждого из них всякий раз по-своему актуализировать воздействие этих структур<sup>139</sup>.

В этой трактовке предмета микроистории содержатся, как я думаю, очень важные моменты, которые можно было бы использовать и при решении задач, встающих перед авторами настоящего альманаха. Ведь рассматриваемые здесь казусы особенно интересуют нас, как отмечалось, в плане того, насколько задействованные в них индивиды способны выбирать нестандартные решения, насколько возможны для них индивидуальное восприятие импульсов, исходящих от социальных структур, и отклонение от принятых стереотипов поведения.

С моей точки зрения, это не значит, что можно было бы игнорировать функциональные связи между поведением индивида и социальным контекстом, в котором ему приходится действовать. Рассуждая об антифункционалистской истории, французские исследователи на практике тоже не отказываются от признания важности такого контекста, хотя и существенно сужают его пространственные рамки. Наиболее определенно возражают они лишь против упрощенного понимания взаимосвязи между поведением индивида и социальной структурой, внутри которой ему приходится действовать.

Эта взаимосвязь действительно не содержит какого бы то ни было автоматизма. Выявить ее своеобразие в каждом конкретном случае очень непросто. Для начала здесь следует признать принципиальную недостаточность при таком изучении одних только *типичных* казусов, анализ которых – при всей его важности – оставляет нас в рамках сериальной истории (выявляя лишь свойственные людям данного времени стереотипные представления и формы поведения)<sup>140</sup>. Удовлетвориться этим нельзя не потому, что сериальная история «плоха» сама по себе, но из-за невозможности на ее основе дать ответ на некоторые вопросы, волнующие современного человека.

В первую очередь речь идет об уже упоминавшемся стремлении понять место и функцию индивида в разных обществах. Из громадного числа аспектов, заслуживающих при этом рассмотрения (понимание индивида, индивидуальности, личности, социума, социального контекста и др.), я хотел бы выделить один, особенно, как мне кажется, актуальный. Я имею в виду *взаимодействие единичного опыта и массовых стереотипов*. В общем плане проблема «присвоения» отдельным человеком надындивидуальных явлений, поднятая уже во времена Анри Берра, не перестает волновать историков на протяжении всего XX в.<sup>141</sup> В рамках предлагаемого в нашем альманахе подхода акцентируется лишь один из возможных способов ее исследования. Не поможет ли осмыслению того, как в различные эпохи совершался переход от единичного и индивидуального к массовому и общепринятому, анализ нестандартных, нетипичных казусов?

<sup>139</sup> Revel J. Micro-analyse. P. 25.

<sup>140</sup> Именно такую трактовку казуальной истории предлагал фактически в упомянутой выше работе М. Вовель (*Vovelle M. Histoire sérielle*. P. 48-49).

<sup>141</sup> См., в частности: *Chartier R. Intellectual History and History of Mentalities // Modern European Intellectual History*. L., 1982; *Burquière A. La notion de «mentalités» chez Marc Bloch et Lucien Febvre: deux conceptions, deux filiations // Revue de synthèse. Série 3*. 1983. T. 104. № 111-112. P. 333-348; *Revel J. Présentation*. P. 10-13; *Lepetit B. De l'échelle en histoire*. P. 72-73.

При изучении данного перехода прежде всего важно осмыслить, в зависимости от каких особенностей индивида и социального контекста этот переход оказывался возможным или, наоборот, невозможным, как в процессе такого перехода изменялся сам индивид, каковы были пределы таких изменений в разных обществах, как на смену старым рождались новые стереотипы и т. д. Для решения подобных вопросов изучение нетипичных казусов открывает особые возможности. *Именно такие казусы нагляднее всего демонстрируют взаимодействие принятых сценариев поведения и индивидуального выбора.* Индивидуальная интерпретация массовых стереотипов составляет здесь самую суть поведения человека. Читатель легко убедится в этом, когда познакомится с публикуемыми ниже конкретными очерками<sup>142</sup>.

По своему содержанию рассматриваемые нами казусы достаточно многообразны. Одни из них относятся к сфере повседневной жизни, другие – к политическим событиям, третьи – к правовым конфликтам, четвертые – к научной практике самих историков. При всей неоднородности этих случаев во всех них речь идет о поступках конкретных людей. Сосредоточение внимания именно на *поступках и действиях* индивидов<sup>143</sup> составляет, пожалуй, еще одну из отличительных особенностей нашего общего подхода.

В современной историографии при характеристике так называемого «открытия» индивида и индивидуальности наибольшее внимание уделяется обычно аспектам самосознания и самоидентификации<sup>144</sup>. В отличие от этого в данном альманахе на первом плане не саморефлексия индивида, но его социальная практика, его действия, в том числе и неотрефлексированные. Их анализ представляется многообещающим способом изучения места и функций индивида в разных обществах. Этот метод высвечивает различия в возможностях выбора решений, которые были характерны для разных исторических периодов, для разных регионов, для разных типов индивида. Нетрудно, таким образом, заметить, что избранный нами подход открывает возможность широких историко-сравнительных сопоставлений и ориентирован на посильную реализацию принципа «дополнительности» микро- и макроанализа.

Мы пытались одновременно найти и наиболее подходящую форму повествования. Ее выбор, как всегда, взаимосвязан с разрабатываемой проблематикой, с применяемой методикой, с самим масштабом исследования. Отправляясь от изучения конкретных поступков индивидов, мы, естественно, использовали форму рассказа. Однако это не рассказ «всезнающего» автора, раскрывавшего все тайны минувшего. Непрозрачность прошлого (особенно когда речь идет о действиях индивида) побуждала нас сознать сугубую гипотетичность предлагаемых интерпретаций. Стремясь раскрыть перед читателем всю неоднозначность имеющихся в нашем распоряжении свидетельств источников, мы не скрываем ни лакун, ни неясностей в анализируемых текстах. Не случайно почти все заголовки наших очерков не слишком определены. Подчеркивая этим неокончателность, предварительность наших решений, мы хотели бы привлечь читателя к совместному размышлению над имеющимися данными, сделать его соучастником исследования. Одновременно нам было важно отметить, что речь идет лишь о некотором опыте истолкования (или перетолкования) текстов, о некоторой версии в понимании поступков индивида.

В этих поступках могут раскрываться принятые стереотипы или же, наоборот, нестандартное, девиантное поведение. В любом случае это конкретные действия конкретных людей разного происхождения, совершенные в столь же конкретных житейских ситуациях. Думается,

---

<sup>142</sup> Как уже отмечалось выше, кроме случаев девиантного поведения, определенные возможности для изучения индивидуального выбора открывают и ситуации, допускающие сосуществование нескольких сценариев поведения.

<sup>143</sup> Понятие «индивид» используется здесь в своем самом общем смысле, без отнесения к какому бы то ни было историческому типу и тем более без того, чтобы подразумевать под ним новоевропейского индивида. См.: *Баткин Л. М.* К спорам о логико-историческом определении индивидуальности // *Одиссей. Человек в истории – 1990. М., 1990. С. 59 и след.*

<sup>144</sup> См. новейший обзор по этой тематике: *Aertsen J. A.* Einleitung: Die Entdeckung des Individuums // *Individuum und Individualität im Mittelalter / Hrsg. von J. A. Aertsen, A. Speer. B.; N. Y., 1996. P. IX–XVII.*



для описания всего этого нет лучшей формы изложения, чем рассказ как вид связного изложения событий и поступков. Однако рассказ о конкретном казусе составляет по большей части лишь «зачин» в каждом из публикуемых в альманахе очерков. Вслед за этим читателю предлагается попытка осмыслить *контекст* рассмотренного случая. Здесь анализ действий индивида как бы пересекается с анализом социальной ситуации и более протяженных общественных процессов. Изучение конкретного фрагмента сменяется исследованием его социального резонанса и последствий. В этой части публикуемых очерков рассказ уступает место обзору накопленных по данному вопросу научных сведений, с тем чтобы на этой базе можно было осмыслить суть и последствия изученного казуса. Именно здесь эксплицитно или имплицитно освещается роль индивида в общественном развитии.

Структурно наш альманах состоит из нескольких разделов<sup>145</sup>. В первом из них рассматриваются казусы, являющиеся элементами некоторой поведенческой коллизии, во втором пространстве казуса оказывается политика, в третьем – правовая сфера. Условность этого членения отрицать трудно, поскольку в реальной жизни все эти сферы переплетались. Но и различия между ними заслуживают внимания. Более очевидно отличие очерков четвертого и пятого разделов, где в центре – деятельность самих историков, способных породить «квазиказусы» в наших представлениях о прошлом.

Эта структура альманаха – проблемная, а не хронологическая – отнюдь не означает, что редакторы недооценивают своеобразие возможностей и функций индивида в разные исторические периоды. Придавая этому своеобразие особую важность, мы включили в поле зрения не только ситуации, относящиеся к Новому времени (или же к раннему Новому времени), как это делалось до сих пор во всех предшествовавших опытах микроисторического анализа, но и казусы средневековой эпохи. Нам хотелось бы иметь возможность уяснить соответствующие различия эпох. Тем не менее мы положили в основу структуры альманаха разграничение по сферам деятельности, надеясь таким образом учесть не только хронологические различия в истории индивида, но и нечто сходное в его функционировании в каждой из сфер.

В последнем, пятом разделе публикуются дискуссии вокруг микроистории и казуального подхода. Перевод недавней статьи итальянского историка Эдуардо Гренди, едва ли не первого зачинателя микроистории, знакомит с попыткой переосмысления опыта этого направления в Италии. Материалы обсуждения, состоявшегося в сентябре 1996 г. в Москве, знакомят с различными суждениями о казуальном подходе некоторых российских специалистов.

Хотелось бы надеяться, что этот альманах привлечет внимание к проблеме индивидуального и уникального в истории, как и к новой функции исторического рассказа. Если эти надежды оправдаются, данный выпуск «Казуса» окажется первым в ряду других, следующих за ним.

---

<sup>145</sup> В заключении статьи речь идет о разделах первого выпуска «Казуса». – *Примеч. сост.*]

## М. А. Бойцов Вперед, к Геродоту!<sup>146</sup>

Отец европейской истории Геродот из Галикарнаса написал свою Историю, чтобы «прошедшие события с течением времени не пришли в забвение», а «великие и достойные удивления деяния как эллинов, так и варваров» не остались в безвестности. Геродот из Галикарнаса не собирался на основании «собранных и записанных им сведений» строить догадки о том, как будут в грядущем складываться, скажем, отношения между эллинами и варварами. Отцу истории не могло, наверное, и в голову прийти, что едва ли не главным профессиональным заклинанием грядущих продолжателей его стараний будет формула о том, что история «в конечном счете» призвана... предсказывать будущее. Что в античной ойкумене, что на ее варварской периферии процветала настоящая «индустрия предвидения» – тот же самый Геродот (наряду с десятками других авторов) подробно о ней рассказывает. Заглядывание в будущее, сверка по нему своих поступков – дело у древних едва ли не повседневное. Лишь христианство смогло несколько приглушить эту практику, свести ее как бы до уровня полулегальной. Способов узнавать будущее и у современников Геродота, и у ряда поколений их потомков было предостаточно: лукавыми гекзаметрами оракулов начиная, бараньими лопатками или наспех обструганными буковыми палочками заканчивая. История в числе этих средств, однако, не значилась...

Красивое в своей парадоксальности *mot* насчет перетекания знаний о прошлом в знание о грядущем – блестящее, но поверхностное, как почти всякое настоящее *mot*, – неотступно преследует нынешнего историка со студенческой скамьи. Многократно и авторитетно повторяемый лозунг не может не оказаться действенным, и разбуженный посреди ночи студент без запинки и тени сомнения ответит на вопрос о том, зачем нужна наука история: она, дескать, «в конечном счете» помогает предвидеть... С примерами успешных предвидений будет уже сложнее – их он и посреди бела дня, пожалуй, не припомнит.

Чем дольше и глубже придется нашему гипотетическому студенту заниматься историей, тем реже в нем будет проявляться склонность к «предвидению будущего», но серьезные сомнения в своей профессиональной пригодности это обстоятельство почему-то у него вряд ли вызовет. Идея о «предвидящей истории» оттеснится в его сознании на какой-то трудноопределяемый метауровень абстрактной и безличной «науки вообще» – уровень, не связанный напрямую с конкретной судьбой конкретного историка. И когда в один прекрасный день наш бывший студент, теперь уже в украшении профессорских седин и регалий, взойдет на самую высокую кафедру, то он наверняка начнет лекцию вопреки собственному жизненному и профессиональному опыту с сакраментальных слов: «Друзья мои, вам уже, конечно, известно, что знание прошлого необходимо не только для понимания настоящего, но и для успешного предвидения будущего!»

На самом деле отношение между прошедшим и будущим складывается в сознании историка, похоже, по принципу совершенно противоположному. Первичным оказывается как раз образ желанного (или реже нежеланного) будущего, и историк, руководствуясь этим образом, объясняет прошлое как часть пути, уже пройденного к заранее известной (по крайней мере, в существенных чертах) цели. Со времен поздней Античности будущее предстает историку-европейцу как нечто в принципе лучшее, нежели настоящее. Христианская эсхатология обещает, конечно же, леденящую кровь вселенскую катастрофу, но ведь в ходе нее раз и навсегда восторжествует высшая справедливость. Христианский образ будущего весьма целостен,

---

<sup>146</sup> Бойцов М. А. Вперед, к Геродоту! // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1999 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 2. М., 1999. С. 17–41.]

хоть и оставляет немало пищи для размышлений по интересным, но все же сравнительно частным поводам: как, например, воскреснут в день Страшного суда из мертвых недоноски, калеки и уроды – со всеми ли своими физическими недостатками или, возможно, в телах, полностью очищенных от недугов? Ясность грядущего – залог ясности прошедшего; не оттого ли христианская картина истории, созданная еще Евсевием, Иеронимом и Орозием, оказалась наиболее развитой, стройной и, что особенно интересно, самой долгоживущей из всех возникавших до сих пор в кругу европейских культур?

В сильно отрезвленной религиозными войнами XVI–XVII вв., исполненной скепсиса, рационализма и тяги к просвещению умов Европе образ «практически значимого» будущего постепенно изменился: он стал куда менее пугающим, но зато более дряблым и размытым, утратил былую апокалиптическую определенность и былой драматизм. Изрядно секуляризированного европейца ждали теперь царства божии на земле – ему обещали создание человеческих сообществ, вполне земных, но чуть-чуть божественных, потому что они будут организованы по законам разума, способного осознать самые заветные истины бытия. А раз так, то есть все основания для надежды обрести кое-что от высшей справедливости и в этих посуточных царствах.

Для одних, вдохновлявшихся идеей грядущего всемирного братства, эти желанные сообщества обретали облик союза народов. Для других, уповавших на раскрытие мощи собственного «народного духа», мечта облекалась, напротив, в образ суверенного национального государства (с мудрым государем или же еще более мудрым парламентом во главе), вводящего общепользные социальные новшества. И наконец, для третьих – особо разочарованных, решительных и нетерпеливых – будущее общество представлялось переделанным в соответствии с наиболее радикальными «требованиями разума» – например, на основе отмены частной собственности. Всеобщая тяга к социальной инженерии склоняла к тому, чтобы историю «превращать в науку», выводя из ее хода те самые закономерности, постижение которых и обеспечит кратчайшие пути к манящей впереди цели. Прошлое оказывалось частью ведущей вверх лестницы, по которой мы успели уже пройти, а будущее – ее следующей ступенькой.

Пик «превращения в науку» история пережила в XIX в., когда европейцы относились к своему будущему едва ли не с наибольшим за все время существования собственной цивилизации оптимизмом. Хотя проблемы национальные и социальные в то далеко не идиллическое столетие принимали порой угрожающие размеры, вера европейца во всепобеждающую силу человеческого разума отличалась тогда небывалой силой и еще незамутненной чистотой. Стремительный технический и научный прогресс казался лучшим доказательством того, что вскоре будут отысканы решения любых проблем – и отнюдь не только из области техники. Именно в том столетии авторитет истории и историков был в европейском обществе как никогда высок, а историческая наука, как науке и положено, успешно вскрывала одну фундаментальную закономерность развития человеческого рода за другой.

В XX в. общественная роль истории изменилась. Две мировые войны, создание полубожественным человеческим разумом все более эффективного оружия и невероятные социальные эксперименты, развернувшиеся с мощью, доступной только исключительному по своей силе государству «современного типа», повлияли на сознание европейцев и их представления о будущем самым серьезным образом.

Прежде всего оказалась скомпрометирована стержневая идея прогресса (в светски-рационалистическом понимании просветителей и их интеллектуальных последователей). Если за вполне очевидным технологическим не просматривается параллельного прогресса духовного, то какой смысл в достижениях науки, занятой на три четверти разработкой все более и более изощренных способов изведения рода человеческого? Сомнения в наличии «подлинного» прогресса, помноженные на сомнения в безграничности познавательных возможностей людского разума, превращают в колеблющийся мираж те картины уютного буду-

щего, что были уже в общих чертах столь убедительно набросаны в оптимистическом XIX в. Европейскому интеллектуалу XX в. пришлось признать за иррациональным и абсурдным качества самостоятельного бытия (а не теней, которым предстоит рано или поздно истаять под всепобеждающим солнцем разума). Это неожиданное «возвращение дьявола» в мироощущение европейца отравило его самосознание вроде бы уже преодоленным в «просвещенные времена», уже почти забытым страхом перед непостижимым. Но ведь стоит только допустить, что нечто весьма существенное в смысле пути, по которому идет человечество, останется принципиально сокрытым, как любая картина прошлого, сконструированная разумом, лишается надежного основания.

Едва ли не главное качество воображаемого («предвидимого») будущего – это преодоление в нем страхов, пугающих нас в настоящем. Когда характер угрожающих нашему существованию опасностей более или менее ясен (или хотя бы кажется таковым), то более или менее определен и облик нашего будущего (а значит, и прошлого). Историкам, жившим в XVIII–XIX вв., характер главных угроз их мироустроению был понятен – они исходили, во-первых, извне – от «чужих», то есть «враждебных», религий, конфессий, наций, государств, а во-вторых, изнутри – от неразрешенных социальных проблем в их собственных обществах. Раз так, то историки достаточно определенно представляли себе «желаемое будущее» и соответственно «под него» задавали параметры изображаемой картине прошлого. Общая картина будущего – это одно из средств сплочения обществ перед грозящей им опасностью, но если такая угроза отсутствует или ясно не выражена, то как может сложиться образ, призванный от нее психологически защитить?

«Религиозно-конфессиональный», «национальный» и «социальный» вопросы, главные двигатели исторической науки в прошлые века, утратили в послевоенной Западной Европе и тем более Северной Америке свою смертельную остроту. Серьезные межконфессиональные трения в чистом виде уже давно в прошлом, «социальный вопрос» полностью разрешен быть, конечно, не может, но предстает сейчас в очень смягченных по сравнению с XIX в. формах. Национальные (или «квазинациональные», как в Италии) проблемы, хотя время от времени и обостряются, вряд ли смогут принять в Западной Европе (в отличие от Европы Восточной) масштабы, грозящие основам существования. Даже если завтра распадется Бельгия, станут независимыми государствами Шотландия или Страна Басков, выставит пограничную стражу на своих южных рубежах республика Падания, вряд ли все это даже вместе взятое будет сопровождаться не только газетными, но и действительными катаклизмами, всерьез угрожающими сложившемуся порядку бытия европейцев.

Страхи современного западного интеллектуала лишены отчетливости – они как бы расфокусированы, идут с различных направлений и с разным напряжением. Вообще-то этих страхов не так уж мало – озоновыми дырами начиная, ядерным терроризмом и опасными экспериментами в области генной инженерии заканчивая, но они оказываются весьма разнохарактерными. Имея примерно одинаковые основания бояться и всемирного истощения ресурсов, и возможного взрыва соседней АЭС, и заражения СПИДом, современный европеец или американец не видит среди всех этих факторов опасности какого-то одного – главного, не только воздействующего на сознание, но и пронизывающего все беспокойное существо человеческое. Невозможно реагировать в одном и том же психологическом режиме на разнохарактерные раздражители. В мире разлито удивительно много зла, но его источник не поддается идентификации, не имеет имени, не может быть назван и даже не распространяет больше с некоторых пор запаха серы.

Изюминка истории в Европе (по крайней мере, в постримской Европе) состояла всегда в том, что она была знанием не просто описательным, но сотерическим. История показывала обществу дорогу к спасению. Не надо доказывать, что без обещания грядущего спасения вся священная история превращается в довольно унылое перечисление патриархов, царей и пророков. Но ведь без идеи выполнения в будущем, по возможности скором, некоей предуготован-

ной и наверняка спасительной, причем, скорее всего, даже и для всего человечества, миссии своего народа и классическая «национальная» история в духе XIX в. также, утрачивая смысл, рассыпается на «фактологические» осколки. Без образа так или иначе понятого справедливого общества, избавляющего от нравственного несовершенства и всяких несправедливостей сегоднешнего дня и ждущего уже за следующим поворотом, утрачивают смысл отчасти и гегелевское самопознание духа, и уж, конечно, Марксовы социально-экономические формации. От чего же должна спасти европейца история сегодня?

Совсем недавно, казалось бы, достойную роль объединяющего западное общество страха должны были играть мы с вами – граждане «империи зла». Действительно, идея противостояния демократий тоталитарным обществам заняла осязаемое место в западном историческом сознании. В европейских школьных учебниках доблестное сопротивление маленьких, но сильных духом своих граждан греческих полисов тяжеловесной персидской деспотии превращалось из простого зачина в ключ к пониманию всей европейской истории. Она приобретала на редкость гармоничную форму рондо, плавно возвращаясь в конце к той же теме, с которой начиналась во времена Геродота. (Вообще-то повествование мудрого галикарнасца можно было бы прочитать и в терминах не извечного противостояния, а, напротив, постоянного творческого взаимодействия «Востока» и «Запада», но политический момент к такому прочтению не располагал.) И все же, как ни странно, идея защиты и утверждения демократических ценностей тоже не оказалась настолько сильной, чтобы интегрировать западное историческое сознание. Даже в простодушной Америке, с ее румяным «демократическим прозелитизмом» и маниакальным стремлением добиться проведения свободных выборов в каждом племени каннибалов, «демократический взгляд» на ход всемирной истории, породив немалый пласт научной, не совсем научной и совсем не научной литературы, не стал все же для исторического сознания определяющим. Другие влиятельные идеи современности, например экологическая или феминистская, оказались вполне в состоянии создавать более или менее влиятельные направления в историческом знании, но также не предложили (и, похоже, уже не смогут этого) общезначимого взгляда на историю. Поневоле создается впечатление, что в современном мире вообще нет таких идей, которые могли бы сравниться с «религиозной», «национальной» и «социальной» идеями прошлого по своей интегрирующей силе. Иначе говоря, западное общество ощущает наличие каких-то опасностей, но не видит на своем горизонте никакой подлинной Опасности. Соответственно, оно не испытывает потребности в создании иллюзорного будущего, а потому не нуждается и в «объясняюще-спасающей» истории.

Если историческое знание не вдохновляется ясной картиной грядущего (то есть навязчивыми страхами в настоящем), оно уподобляется зданию, возводимому без связующего раствора, а значит, зданию, рассыпающемуся уже в ходе такого бесконечного строительства. Дробление и мельчание европейского исторического знания на протяжении всего XX в. очевидно, в убеждении читателя примерами нет необходимости. Время от времени та или иная группа относительно молодых и безусловно энергичных энтузиастов провозглашает, что пора распада закончена, пробил час нового синтеза. Они предлагают более или менее остроумную идею, призванную стать основой для кристаллизации «новой истории». Большая или чаще меньшая часть научного сообщества этой идеей увлекается и обсуждает ее лет 10–15 с немалой заинтересованностью, а потом – со все нарастающей усталостью. За это время эпигоны успевают заболтать находку до того, что она начинает вызывать тошноту, особенно у следующего, уже успевшего подрасти поколения, разумеется, также жаждущих самоутвердиться (а потому временно неконформистски настроенных) и также небесталанных энтузиастов. Они смело поднимают голос против вчерашних авторитетов, говоря (и вполне справедливо, приходится признать), что предыдущая попытка синтеза окончилась неудачей. После чего все повторяется с самого начала. По морю исторических сочинений вновь пробегает методологическая рябь, открывается несколько относительно новых тем, надоевшие словечки заменяются новыми,

посвежее, но обещанный синтез, уже вроде бы, по слухам, успешно состоявшийся в какой-то одной отдельно взятой историко-алхимической лаборатории, на самом деле снова оказывается по той или иной причине недостижимым. Что же касается массового исторического сознания, то оно может вообще никак не отозваться на проблемы, занимающие умы узкого слоя профессиональных историков.

Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что столь желанный многими синтез в истории на самом деле недостижим по причинам не случайного, а принципиального свойства, а тоска по нему, время от времени обуревающая европейского или американского историка, – не что иное, как проявление ностальгии по Девятнадцатому веку, то есть по той былой, увы, уже успевшей изрядно поблекнуть, оптимистической вере в разумность, осмысленность, а главное, осмыслимость человеческим разумом мира. Ностальгия и тоска – вполне естественная и здоровая реакция на неуютность собственного положения. Здоровое чувство самосохранения, похоже, оказалось у историков сильнее развито, чем у художников, философов или писателей: в завершающемся веке появились и концептуальное искусство, и философия иррационализма, и литература абсурда, но не родилось сколько-нибудь заметного концептуального (хотя бы в литературном плане), иррационального или же абсурдистского историописания. Разумеется, историки не могли остаться совсем не затронутыми общекультурными течениями, они просто откликались на них иначе. Литератор, переживающий в XX в. всеобщий распад бытийственных связей, должен для передачи своих ощущений прибегать к чрезвычайным языковым и художественным средствам. Историк же в своей работе поневоле привык иметь дело лишь с мелкими фрагментами давно исчезнувшей жизни. Недостаток или даже отсутствие всеобщих связей в знакомом ему кусочке бытия – дело не исключительное, а повседневное. Черный человек не является историку в отдельные минуты мрачного озарения, как поэту, – он все время стоит у него за плечом.

Ностальгия по синтезу, ностальгия по XIX в. – это выражение неудовлетворенности нынешним состоянием исторического знания, раздражающей слабостью его способностей к обобщениям. На то, что нынешняя история европейского образца – в осколках, жаловались и жалуются постоянно, призывая срочно приниматься за их склеивание. Но почему-то мало кому хватает смелости признать очевидное – это и есть сейчас, наверное, самое естественное и, более того, единственно возможное состояние истории.

Все привыкли говорить о «кризисе» в историографии XX в., сравнивая ее тем самым сознательно или подсознательно со взятой за образец «некризисной» историографией века XIX. В пугающем, на первый взгляд, слове «кризис» кроется на самом деле трепетная и наивная надежда на возвращение к истокам: тяжкие времена разброда и шатания пройдут, и историки вновь почувствуют под ногами твердую почву, история вернет себе общие основания и ту свою объясняющую роль, которые так украшали ее в прошлом веке. О, сладость несбыточных надежд! Конечно, психологически легче признавать, что в исторической науке вот уже более ста лет подряд длится «кризис», конца-края которому и впереди, сколько хватает взора, не видать (дольше длился, наверное, только кризис Римской империи), чем допустить, что кризис этот давно уже миновал, но... с печальным для больного исходом. Тот конкретный, весьма специфический вид исторического знания, который принято называть исторической наукой и который преобладал в Европе в XIX в., уже не переживает кризис – он давно умер, и на чудесное его воскрешение рассчитывать всерьез, увы, вряд ли приходится.

Не стоит сейчас углубляться в запутанные дебри науковедческих дискуссий о том, что, собственно, есть наука «как таковая», чем она отличается, а чем не отличается от иных форм организации знания, в чем состоит всегда несколько неуверенно формулировавшаяся «особость» «особых» гуманитарных наук вообще и истории в частности и, наконец, как мутировали за последние десятилетия те «образцовые» науки, чья «научная репутация», в отличие от истории, никогда не ставилась под вопрос. Постольку, поскольку науке положено выявлять и

использовать некие общие законы и чуть менее общие закономерности (а это допущение при всей своей грубости, кажется, более или менее признается), истории как науки на самом деле больше нет. Смертельный удар ей нанесли еще неокантианцы, а вся последующая критика, в том числе и со стороны постмодернистов, – лишь мало что добавляющее по существу вопроса приплясывание на ее костях.

Высказанный тезис еще не повод для траура и слез. Отец европейской истории Геродот намного старше отца европейской науки Галилея. Соответственно и история несопоставимо древнее науки. История – прежде всего рефлексия общества, а потому будет существовать, пока существует само общество, неважно, в форме космогонического мифа или же компьютерной игры «про фашистов» (что, кстати, не так уж далеко друг от друга). А вот вечно ли будет существовать европейская наука (или она, например, вновь растворится в религии либо же сама станет таковой), можно лишь гадать. В XVIII–XIX вв. история напоминала аристократку с бесчисленными поколениями титулованных предков за спиной, которую вдруг стали презирать за то, что ее вкусы и привычки совсем непохожи на стиль жизни одной безродной парвеню, едва-едва пробившейся в свет и тут же по случаю попавшей в высочайший фавор. Аристократка оказалась не высокомерной: она прилежно пыталась стать такой, как все от нее вокруг хотели, но сколько можно идти против собственной природы? Наверное, и в XIX в. история наукой не была, но тогда она еще честно из всех сил старалась в нее превратиться.

Близкое знакомство с нравами парвеню оказалось, впрочем, существенным. История переняла некоторые требования науки к структурированию, оформлению и оглашению собственного знания, или же, говоря иначе, наука задала нормы общения внутри профессионального сообщества и способы отличить людей, в него официально допущенных, от сторонних «чужаков». Более того, наука дала истории довольно точные приемы проверки определенной категории старых и получения новых, притом более или менее определенных, знаний, так что теперь есть целые разделы истории (ярче всего представленные так называемыми специальными дисциплинами, сфера влияния которых постоянно расширяется), где присутствие науки ясно чувствуется. Историк, к примеру, нашедший в архиве важный документ, сумевший его в соответствии с некоторыми (вполне научными) правилами прочесть, истолковать и опубликовать, безусловно, завоевывает новую крупницу «положительного» знания. Но вот сплавлять такие крупницы в сколько-нибудь строгие, общезначимые и устойчивые системы, к тому же еще и способные выдержать эмпирическую проверку (как это и положено Науке), история при всем желании научиться так и не смогла. А за последний век она успела уже растерять и желание заниматься столь несвойственным ей делом.

Европейско-американское историописание тем более дробилось на осколки, чем более гомогенизировалось по уровню жизни западное общество. Главную причину затухания массовых страхов и рассеивания традиционных видов массовых иллюзий (Голливуд не в счет), о чем шла речь выше, наверное, следует видеть прежде всего в примерном выравнивании способов существования основных групп населения. В обществе, где, говоря языком социологов, все более увеличивается доля «постматериальных потребностей», рассеиваются, как туман, те самые классические «социальные интересы», которые способны объединять в стремлении, протесте и борьбе сотни тысяч людей. Вместе с уходом резких социальных градиентов уходят массовые партии, могучие профсоюзы, а главное, великие идеи, способные одухотворять массы. Когда большинство получило сносные условия для существования, открывается простор интересам не «первичного» плана (а потому массовым), но «вторичного» – куда более разнонаправленным. Вот тут-то и начинается действительная социальная дифференциация – не столько на пять-шесть общественных слоев, сколько на бесчисленное множество мельчайших ячеек разнообразных половозрастных, профессиональных и прочих микроинтересов, на всевозможные товарищества отчисленных из Оксбриджа, кружки любительниц абортот, клубы фанов музыки сфер, содружества сторонников нетрадиционного использования еды, общества

энтузиастов выпрямления Млечного Пути, банды угонщиков синих детских колясок, секты анонимных огнепоклонников и ассоциации спасения пуделей от стрижки. Если классы, как нас настойчиво учили, когда-то действительно и существовали, то скоро все, что от них останется, – это одни референтные группы. Похоже, что место традиционных «социальных» разграничителей в обществе заняли психосоматические, и социуму придется теперь волей-неволей делиться на группы людей с относительно сходными темпераментами, моторикой, «химией мозга» и прочими личностными характеристиками.

Масс больше нет, а есть индивид, все более освобождаемый от порой стеснявших, но порой и поддерживавших старых социальных связей, а потому и все более тоскующий от одиночества. Его жизненная драма, как показывает нам литература, не социального, а экзистенциального свойства: она не сближает его с другими такими же, а, напротив, отдаляет от них. Для ощущения собственной полноценности ему уже не нужны ни всеобщая социальная иллюзия, ни всеобщий социальный страх. И успокаивающую иллюзию, и порцию взбадривающего страха он получает в полезных для здоровья дозах индивидуально и приватно – нажав вечером кнопку телевизора. Так для чего же историку пытаться склеивать из осколков разбитое зеркало, когда в него все равно некому больше смотреться?

И в перспективе вряд ли стоит ожидать возвращения «традиционной социальности». Стремительное развитие информационных технологий приводит к замене многих межчеловеческих связей на чисто технические. Компьютер и интернет вскоре начнут растворять, как кислота, самые, казалось бы, привычные и прочные социальные институты и сферы человеческого общения – от магазинов, библиотек и университетов до бюрократии, политических партий, парламентов, наций и уже и без того становящихся архаичными национальных государств.

Зачем нужен будет, к примеру, академический институт истории? Историк рассылает свои электронные заявки на проведение исследования по безличным космополитическим фондам, в случае удачи получает от какого-то из них на банковский счет деньги на прожитие, выводит на свой дисплей и всячески обрабатывает там же любую нужную информацию из любого ее хранилища и путем нажатия клавиш общается, хоть круглосуточно, с горсткой специалистов по его узкой теме, разбросанных от Тасмановой Земли до Баффиновой.

В итоге такого развития техники и общества человек оказывается настолько могущественен и самодостаточен, что не испытывает жизненной потребности ни в одной форме групповой идентификации (а ведь история и является одной из таких форм) – он остается вдвоем со своим компьютером и в одиночестве, по сравнению с которым нынешнее, на которое в XX в. было так много жалоб, покажется верхом социальности. Дай бог, чтоб сохранилась хотя бы какая-нибудь форма семьи в доказательство справедливости слов простенькой, но мудрой песенки: «Все он может, мирный атом, но вот этого, вот этого – никак», а то ведь что только может не оказаться в конце концов виртуальным... Угадываемый впереди результат – одинокий индивид наедине со всем миром, ставшим, благодаря компьютерным сетям, обозримым столь же легко, как Аристотелев полис. Интересно, останется ли смысл тогда в сочинении истории, если это будет не история одной отдельной личности либо же человечества в целом – новой ойкумены со всеми обитающими в ней меотами, кавконами, карийцами, петами, амафунтцами, каласириями, неврами, писидийцами, сикелийцами, моссиниками, энетами, сапеями, пеонами, феспротами, тибаренами и прочими ихтиофагами?

Вот и вышел случайно прогноз или, если угодно, предвидение, но разве не характерно, что, справедливо это предсказание или нет, оно построено отнюдь не на специфическом владении именно историческим знанием, а всего лишь на отслеживании наиболее заметных в настоящем процессов да на капле социологии? Предвидение не относится к числу даров Клио.

Все многословно изложенное выше показывает, думается, что дела у генерализирующего, «объясняющего» историописания идут и будут идти худо, причем по причинам, совершенно не зависящим от личной одаренности и доброй воли историков. Это не означает, что писать «син-



тетические» работы с сегодняшнего дня категорически запрещается или что таковых больше, само собой, не появится. Возможно, наоборот, вполне убедительные «попытки синтеза» будут предлагаться еженедельно, но вот сила их воздействия за пределами круга близких друзей автора будет скорее всего весьма низкой. Может появиться великое множество индивидуальных объяснений хода истории, но не будет ни одного сколько-нибудь «общепринятого», хотя бы только среди части профессионалов. Само состояние научного сообщества совсем не способствует усилиям по историческому синтезу. Поток информации (отнюдь не всегда доброкачественной) усиливается не по дням, а по часам. Только по медиевистике выходит сейчас около 10000 статей ежегодно, не говоря уже о монографиях. Вся эта продукция уже не поддается обработке с той степенью полноты и тщательности, которая по традиции требуется (хотя бы в идеале) правилами научного сообщества. Необозримость информации – труднопреодолимое препятствие на пути к ее корректному обобщению.

Если в XIX в. профессор истории мог позволить себе десятилетиями писать эпохальный труд, пока его идеи и форма их выражения не вызреют вполне, то в наше время прозаическая необходимость отчитаться в срок перед грантодателем или университетским советом заставляет выбрасывать на интеллектуальный рынок великое множество не вполне зрелых штудий. Если в прошлом веке действительно серьезное исследование имело шанс составить эпоху уже потому, что с ним обязательно знакомились все сколько-нибудь влиятельные в научном сообществе лица, то теперь оно без соответствующей работы по «маркетингу и рекламе» имеет все шансы утонуть в море второсортных сочинений. В XIX в. число и влиятельных профессоров истории, и окружавших их учеников было невелико, так что удачливая идея легко завоевывала себе весомую долю интеллектуального рынка. Теперь же при изобилии всевозможных университетов, институтов, научных школ и кафедр мобилизующая сила даже самой яркой идеи самого талантливого интеллектуала гасится от трения об идеи иных весьма многочисленных талантливых интеллектуалов, каждый из которых стоит в центре своего «сектора» или своей «ячейки» – одной из тысяч внутри едва обозримого научного сообщества. Композитор может заслуженно гордиться, если его мюзикл продержался на Бродвее месяца два, прежде чем его вытеснили другие постановки. Автор «синтезирующей» идеи в истории должен быть счастлив, если ее не забыли через десять лет – всё новые волны литературы захлестывают профессионально работающего историка, и возвращаться, например, к осмыслению заново классики десятилетней давности уже просто нет сил. (Конечно, если нет особых – личных – оснований верно любить ту или иную книгу, например воспринятую как откровение в романтическом студенческом возрасте.) По-настоящему бессмертны только издатели источников, но много ли в XX в. тех, кто посвятил свою жизнь этому тяжкому занятию? Всем же Муратори XXI в. вместе взятым хватит забот с перенесением бесчисленных текстов, некогда произведенных по устаревшей Гутенберговой технологии, на какие-нибудь новые цифровые лазерно-оптические да дигитально-стекловолоконные носители информации.

В нашем веке стало попросту слишком много историков (кстати, оплачиваемых в среднем существенно хуже, чем их коллеги в XIX в.), а история превратилась в массовое ремесло, вроде портняжничества, так что любая концепция исторического синтеза, исходящая от одного из них или даже от целой группы, не имеет шанса на продолжительное господство над умами. Сообщество может относительно легко достигать согласия в отношении конкретных методик исторического исследования, но оно не в состоянии сойтись на одном понимании какой бы то ни было общеметодологической проблемы или тем более на теории «общеисторического» уровня.

В нашей родной стране общие процессы отличались, как водится, немалым своеобразием. Официальный марксизм на десятилетия избавил отечественную историческую науку от той мучительной рефлексии по поводу смысла собственной деятельности и тех дискуссий о природе исторического знания, что сильно смущали покой историков на Западе. Требователь-

ная и строгая идеология сыграла у нас роль рефрижератора, сохранившего в замороженном, но еще вполне годном к употреблению виде существенную часть европейского XIX в. – его историческое сознание. Здесь и набор основных социальных «страхов», и, соответственно, образ желаемого будущего, а как следствие – и «рациональный оптимизм» (как вера в неограниченные возможности постигающего разума), и «социальный оптимизм» (как вера в восходящее развитие общества), и понимание исторического процесса как целостного, и требование к истории выявлять и объяснять если и не всеобщие законы общественного развития (они уже открыты и пересмотру не подлежат), то хотя бы некоторые его существенные закономерности, и, наконец, организация работы историка. Можно сказать еще сильнее: мы стали в конце концов едва ли не единственной страной, в которой к концу XX в. все еще существует историческая наука.

Конечно, советская историография никогда не была методологическим монолитом. Под вуалью из дежурных цитат можно обнаружить наряду с той или иной трактовкой марксизма то вполне классический позитивизм, то не менее классический национальный романтизм, то структурализм, то школу «Анналов», то нечто настолько индивидуальное, чему и название не подберешь. Однако понимание роли истории в обществе оставалось, кажется, во всех этих случаях примерно одинаковым. Удивительно, но и весьма показательно, что катаклизм 90-х гг., глубочайший, с какой бы позиции на него ни смотреть: с марксистской (ретроградная смена общественно-экономических формаций!), с национальной (потеря одной из ведущих ролей в мире, национальное унижение!), с либеральной (внезапное приобщение к «мировым ценностям»!) или со свежобретенной клерикальной (новая евангелизация Руси!), – как-то неадекватно слабо сказался на научном сообществе историков и том, как оно осознает и этот катаклизм, и свою роль в нем, да и вообще содержание собственных профессиональных занятий. Вместо дискуссионных бурь, начавших было пошумливать во второй половине 80-х, – несколько странная тишина и явная всеобщая неохота беречь умы и разжигать страсти обсуждением внутрицеховых проблем. Тишина эта – вообще-то благо, поскольку свидетельствует о присутствии в сообществе такта и здорового чувства самосохранения, не позволяющего поднимать неудобные вопросы, обсуждение которых чревато общими неприятностями.

Совсем не так давно начинающим историкам настойчиво внушали, что их дисциплина – не только предвидящая, но еще и идеологическая. Последнее произносилось обычно с подчеркнутой многозначительностью и как бы с нарочно не слишком глубоко упрятанным намеком на причастность историка к делам власти. Тогдашняя государственная идеология и тогдашняя власть вроде бы кончились и даже вроде бы осуждены, хотя, с другой стороны, вроде бы и не так чтобы до конца... Что случилось в братских странах после крушения социализма с теми историками, кто во время оно так же высоко ценил свою причастность к такой же идеологии и такой же власти? В Польше таковых к 1989 г. на заметных постах, собственно, почти уже и не осталось, зато в Чехословакии после «бархатной революции» провели люстрацию, а в бывшей ГДР разогнали «индоктринированные» кафедры, институты и факультеты с бескомпромиссностью, похожей на свирепость. У нас после минутной растерянности просто сменили таблички на дверях особо одиозных кафедр. Академические журналы, ранее описывавшие, какую хорошую политику осуществляла Коммунистическая партия, стали в той же тональности описывать, насколько эта политика была плохой. А по количеству на душу населения явившихся в мгновение ока непонятно откуда целых армий политологов и даже культурологов страна тотчас обогнала весь прочий мир (чего, впрочем, нельзя сказать ни о нашей политологии, ни о нашей культурологии последних лет).

Пожалуй, всем стоит порадоваться, что никаких чисток не состоялось. Во-первых, перетряска в среде скромных идеологических работников выглядела бы по меньшей мере странно и даже несправедливо, когда вся прочая прошлая социальная элита без особых потерь плавно перетекла в элиту нынешнюю. Во-вторых, при возможных кадровых просеиваниях было бы

нервов истрепано много, но без особого толку, поскольку принципиальную чистку от «слуг скомпрометировавшего себя режима» наверняка проводили бы эти самые слуги, только что внезапно полностью прозревшие. Наконец, в-третьих, и при нынешнем щадящем варианте, когда каждый получил возможность найти себе место под новым солнцем, всего через каких-то 10–15 лет наиболее активная и продуктивно работающая часть исторического сообщества будет укомплектована сегодняшними студентами, уже весьма смутно представляющими себе реалии развитого социализма, так из-за чего же было бы теперь страсти раздувать? Только вот не унаследует ли и постсоциалистическая смена убеждение, что одна и та же предвидящая наука история может с равной доказательностью предвидеть торжество то коммунизма, то цивилизованного рынка – в зависимости от потребностей? Конечно, неприятный вопрос о персональной, а главное, цеховой ответственности (хотя бы моральной!) историков за некоторые не самые приятные стороны советской власти в конце концов неизбежно будет поставлен, но, вероятно, лишь когда приобретет несколько отвлеченную академичность.

Похоже, что и собственно теоретические дискуссии не вызывают теперь такого интереса, как еще совсем недавно – на самом закате прошлой эпохи. Почему-то при умирающей идеологии «спорить о методе» было увлекательно, а ныне, когда она тихо скончалась в бозе и мысли открыт вроде бы простор небывалый, это же самое занятие представляется довольно скучным и излишним. Наверное, сказывается тяжелая контузия, пережитая всем сообществом в результате перемен последних лет, а может быть, дело серьезнее. Если внимательно вслушаться в царящую у нас тишину, можно различить еле ощутимый, но постоянный звук, похожий то ли на звон, то ли на шорох. И это уже не слуховая галлюцинация, также вызванная контузией, а нечто объективное: потихоньку покрывается сеткой трещин, раскалывается и осыпается наше старое историческое зеркало. Историческое сознание и в нашем отечестве приходит в состояние, возможно, не слишком радующее, но нормальное для XX в. – состояние в осколках.

Когда способные аспиранты, ассистенты и младшие научные сотрудники возвращаются из очередной заграничной командировки, они привозят теперь оттуда обычно не общие концептуальные идеи, а конкретные исследовательские технологии. На нашем интеллектуальном рынке сильно изменился характер спроса: если 20 лет назад едва ли не любая методологическая новация, запорхнувшая случайно за железный занавес, оказывалась здесь в окружении сотен талантливых поклонников, лелеющих гостью с трепетной нежностью, неведомой ей даже на родине, то сейчас ценностью обладает прежде всего прозаическое ремесленное знание.

В советскую пору умение порассуждать об историческом процессе вообще, со всеми его основными закономерностями и противоречиями могло с успехом компенсировать отсутствие знаний новых и древних языков, библиографии, палеографии, архивного дела и прочих «вспомогательных» разделов исторического знания. Теперь же самой характерной (хотя и очень нешумной, а потому мало замеченной) тенденцией стал относительный рост «знаточеского», а не «концептуального» исторического знания. Едва ли не впервые в нашем веке появляется целое поколение, не пугающееся работы в архивах и, самое главное, умеющее там работать. Конкретное знание конкретного вопроса ценится куда больше умения вписать его в «широкий исторический контекст». Да и прирастают достижения отечественных историков последнего времени, если судить даже по официальным отчетам «ответственных лиц», за счет выдачи нагора узкоспециализированных сведений, а не за счет разработки общих теорий. Если такова станет ведущая тенденция в развитии научного сообщества, то его направление особых сомнений не вызывает. Сообщество будет чем дальше, тем больше дробиться на мелкие группы узких, но свое дело хорошо знающих и вовлеченных в международные связи профессионалов, правда скучающих в обществе коллег, занимающихся иными темами и вызывающих, в свою очередь, смертельную скуку у тех. Собирать их под один методологический флаг (или даже под несколько флагов) – дело совершенно безнадежное. Ни выявлять закономерности, ни предлагать обществу пути спасения эти люди больше не будут, если, конечно, завтра не выйдет власт-

ный циркуляр, провозглашающий всех историков при государственных должностях, скажем, патриотами, призванными денно и ночно отстаивать в каждой публикуемой строке жизненные национальные интересы. Поскольку состояние общества не блестящее и какая-нибудь сотерическая идея ему бы сейчас не помешала, а родное государство может еще и не догадываться, что общественная роль истории и историка в XX в. иная, чем в XIX, то подобные эксцессы не исключаются.

Происходящий сейчас у нас тихий распад традиционного историзма, влекущий за собой, помимо прочего, дробление сообщества историков на совокупность весьма слабо связанных друг с другом индивидов, далеко не всеми осознается и уж тем более не принимается душой как закономерный, но создает, естественно, некоторое неудобство и чувство дискомфорта порой на сугубо подсознательном уровне. Жизнь вообще безо всякой объясняющей исторической теории представляется весьма многим не жизнью, а сплошным мучением.

Первый типичный и вполне естественный вариант выхода из психологических сложностей состоит в сохранении верности старым марксистским ценностям. Многие одаренные люди приходили когда-то в историю с благороднейшим намерением шажок за шажком, десятилетие за десятилетием осторожно, по чуть-чуть раздвигать косные рамки истмата, не вступая, правда, с ним при этом ни в малейшую конфронтацию. Они вкрадчиво, но настойчиво старались вживлять в сухое лоно официального историописания эмбриончики живого творчества при помощи и своих конкретных штудий, и неортодоксальных цитат из всевозможных «ранних сочинений», «экономических фрагментов» и прочих уже изрядно раскритикованных мышами рукописей. Медленная и требующая точности работа по каучукизации догмы, похожая на работу сапера, становилась подвигом и смыслом всей жизни. В один прекрасный августовский день у жизни был отнят ее смысл – догму отменили. Если былые ортодоксы-циники с легкостью чрезвычайной бросили старых идолов и побежали окуривать новых, то «осторожные реформаторы» – люди с принципами – обиделись на бесцеремонно обогнавшее их время и стали вопреки господствующему идеологическому течению славить марксизм – тот самый, «творческий», реально, кажется, никем не виданный, но созданию которого были отданы лучшие годы.

Второй вариант предполагает на словах решительный отказ от марксистской концепции истории при полном следовании ей по сути. Лучший пример такого пути решения проблем предоставляет средняя школа. Наш типичный учитель (и типичный управленец от образования) просто не в состоянии представить себе историю в осколках, неспособную объяснять по крайней мере судьбы человечества. Любой методист снисходительно скажет, что Геродот написал в лучшем случае «книгу для чтения» (как будто бывают книги для забивания гвоздей), поскольку «нарративный момент» у него преобладает над «аналитическим» и из бесконечных рассказов грека нельзя себе уяснить «ход исторического процесса». Упрощенно говоря, школа переименовала ставшие с недавних пор страшно неприличными «общественно-экономические формации» в более благозвучные, хотя и менее определенные «цивилизации» – и успокоилась. Исходное понимание места, роли и функций истории в обществе осталось прежним – из XIX в. «Теория цивилизаций» появилась когда-то на нашей почве как раз как один из результатов усилий по приданию большей гибкости официальному марксизму, наряду с другими изобретениями того же плана, вроде «деятельностного подхода» или теории исторических альтернатив. Цивилизационный подход должен был сыграть роль второго «азиатского способа производства», дискуссии о котором, как казалось (а может быть, и оказалось), раздвинули тесные рамки ортодоксии, но при этом, естественно, без попыток эти рамки сломать.

Чтобы бдительные ортодоксы не загрызли ее во младенчестве, «теория цивилизаций» на первых порах сама все время лепетала, как хорошо она «совмещается» с марксизмом вообще и с формациями в частности. Когда официальный марксизм вдруг зашатался, пришел черед уже бдительным ортодоксам настаивать на «совмещении» формаций с цивилизациями, чтобы не

отдавать удачливому конкуренту всего и сразу. Но для их беспокойства не было на самом деле серьезных оснований: грозный, по слухам, пришелец оказался не настоящим конкурентом и тем более не ниспровергающим основы мстительным революционером, а по-девичьи нежной сестрой милосердия, ухаживавшей до последнего за умирающим стариком. После кончины официального марксизма «теория цивилизаций», оказавшись одна на продуваемом всеми ветрами юру, заскучала. Из нее никак не получается сколько-нибудь общезначимой формы генерализации исторических знаний, и, наверное, не случайно, а потому что, как вытекает из сказанного выше, время всяких генерализаций подобного типа прошло. Категория «цивилизация», в отличие от категории «формация», гибка и изменчива, как Протей: она готова принять любой облик и любое содержание. В эпоху «каучукизации догм» это качество было весьма ценным, а в нынешнюю оно скорее бесполезно. Понятие «цивилизация» настолько ни к чему не обязывает историка, что в 95 % случаев его можно попросту не замечать – и притом безо всякого ущерба для понимания прошлого. А уж когда в тех же школьных «цивилизациях» под модной косметикой без особого труда угадываешь до боли знакомые черты базисов и надстроек, социальных революций и производительных сил, становится понятно, почему древние так настаивали на круговращательном характере движения времен.

Слова «базис» и «надстройка» в нынешних исторических трудах попадают редко. Терминологическая революция, по мнению многих, грянула с высокопринципиальной или же отчаянной заменой сочетания слов «классовая борьба» на сочетание слов «социальная борьба». Но исходная установка нашего марксистского историописания на то, что «главным» в истории является не история, а социология, осталась без изменений. Социологизированность в духе XIX в. мышления отечественного историка заметна даже при его сознательном стремлении избегать собственно марксистской терминологии. Сама манера расставлять акценты на «важнейшем» и «вторичном» (производство не может быть вторичным!), поиск всеобщих причин и обязательных следствий, несложный эволюционизм и набор обязательных «общественных противоречий», даже выбор ключевых понятий – все это никак не желает превращаться из инструментария историка в объект его профессионального интереса.

Особая тема – это, конечно, язык историка. Пока историки не знали, что история – это наука, они думали, что она – вид словесного творчества, и старались писать не без изящества. Ни Геродота, ни Григория Турского, ни Гердера нельзя упрекнуть в невнимании к стилю. В XIX в. ценности меняются, история превращается в науку, и вот уже не конкретный автор, а она, великая и непогрешимая Наука, принимается со страниц исторических сочинений вещать обезличенные абсолютные истины. С этого времени «принятый» стиль высоконаучных исторических трудов начинает (за некоторыми счастливыми национальными исключениями) напоминать голоса дикторов советского радио. Поставленные на особый лад, они все звучали как-то очень похоже, без ярких индивидуальных отличий и с такими нездешними потусторонними интонациями, что сразу становилось ясно – к тебе обращается не какой-то живой человек, а само Государство. Присутствие сверхличностного начала – Науки – легко ощущается не только в отстраненном «мы», от чьего имени обычно ведется трудный рассказ, но и во всей суконной манере изложения, явно призванной скрыть то постыдное обстоятельство, что автор – живой человек, сотворенный вполне обычным, а не каким-нибудь чисто интеллигибельным способом. Широко распространенные недостатки порой начинают восприниматься в качестве нормы. Вот и у нас сложилось диковатое убеждение, что «серьезное» историческое произведение обязательно должно быть скучным, а нескучное произведение не может быть серьезным. Историк может накопать в архивах горы никем не виданных документов, учесть самые экзотические публикации, не читавшиеся до него никем, кроме их авторов, написать с полным знанием дела десяток новаторских книжек, но если он имеет несчастье обладать сколько-нибудь изящным стилем и облекать свой рассказ, заботясь об интересах читателя, в более или менее приятную для усвоения форму, то всегда отыщется какой-нибудь нудный ханжа – блюститель

примитивно толкуемой цеховой нравственности, который, не вникнув в суть дела, обвинит его, например, в чем-нибудь вроде увлечения «беллетристическим галопом».

Такой критик не замечает между тем, что нормальный человеческий язык отнюдь не уступает по выразительности «научному» жаргону, до пределов загрязненному столько же «учеными», сколько неудобопроизносимыми и, главное, неточными, по сути, «терминами». Историей отдельных понятий в духе Отто Бруннера и его последователей у нас, кажется, толком никто еще не занимался, а потому нет и понимания того, насколько неопределенны и размыты смыслы множества самых что ни на есть распространенных «научных терминов». Так, вроде бы еще не обращалось внимания, что даже столь важное прилагательное, как «феодальный», в самую что ни на есть ортодоксальную пору под пером самых что ни на есть ортодоксальных авторов то и дело употреблялось в совершенно не марксистском смысле. Почему российское боярство воплощало в себе «феодальную реакцию» по отношению к Ивану Грозному? Основатель опричнины рвался к прогрессивной капиталистической формации, а бояре его туда не пускали? Нет, правильное объяснение надо искать в книгах старых французских историков, еще ничего не слыхавших о марксизме.

Как хорошо известно, одно из самых укорененных «французских» пониманий феодализма – это политическая раздробленность. Слово «феодальный» прилагается к тому, что мешает централизации. И именно в этом смысле оно «контрабандно» в составе более или менее устойчивых словосочетаний перекочевало на страницы сочинений советских историков, читавших много либо французских книг, либо же русских, но написанных под галльским влиянием. Сочетание слов «феодальные сеньоры» в «марксистском» понимании лишено смысла – сеньоров капиталистических или рабовладельческих марксистская социология не знает. Но вот сеньоры, препятствующие централизации страны под скипетром короля, хорошо известны, правда, к основным признакам феодальной общественно-экономической формации они при всей своей объективной реакционности отнесены быть не могут.

Если одно из ключевых понятий, употребляется неряшливо, с постоянными смысловыми шумами, то при склеивании его с другим, не менее неопределенным, степень невнятности резко увеличивается. Что такое государство, сказать непросто, но в марксистской социологии наибольшей популярностью пользовались определения, созданные классиками при рассмотрении современных им национальных государств. Отсюда и машина для подавления, и постоянные армии, тюрьмы, и определенная территория, и суверенитет. С другой стороны, на подсознание русского читателя действует и ассоциация, вызываемая самим звучанием слова «государство» – оно явно происходит от слова «государь». (В западных языках ассоциации совершенно иные, восходящие через посредство итальянского к латинскому *status* – состояние, статус, устройство, сословие.) А что же такое всем нам из учебников хорошо известное мистическое «государство эпохи феодальной раздробленности»? Страна разорвана на клочки «феодальными сеньорами», но тем не менее есть машина, постоянная армия, суверенитет и определенная территория? Вся раздробленная Русь или же вся раздробленная Франция – это одно государство, хоть его как такового и нет? Или же отдельное государство – это каждое суверенное (опять многозначное словечко из французского словаря) владение младшего отпрыска какого-нибудь мелкого княжеского рода, а его тиун и три холопа и воплощают собой знаменитую «машину для подавления»? Это загадочное «государство эпохи феодальной раздробленности» так мерцает и колеблется при всякой попытке постичь его сущность, что поневоле хочется в отчаянии воскликнуть вместе со Жванецким: «Нет, вы мне скажите, оно есть или его нет? Есть или нет?»

Путем дальнейшего нанизывания подобных «терминов» можно успешно строить теории и без конца писать вполне наукообразные монографии об «особенностях эксплуатации в государстве эпохи феодальной раздробленности» или о «государстве эпохи феодальной раздробленности как политико-правовом выражении социальных противоречий общества зрелого

феодализма». Чем гуще смысловой туман, тем интенсивнее могут вестись научно-теоретические дискуссии. Впрочем, в любви к квазинаучным терминам с неопределенным содержанием мы не одиноки. Те же французы всего несколько лет назад чуть не до хрипоты спорили между собой, был ли рубеж X и XI вв. всего лишь *mutation* или все-таки *révolution*...

Упоминавшийся Иван Грозный любил временами «перебирать людишек», нам тоже стоило бы хоть изредка «перебирать словечки» из привычного с детства социологического лексикона, на котором, как и встарь, держится наше здание Исторической Науки. Интересно, сколько «научных понятий» выдержит научную проверку на профпригодность? Есть, конечно, «научные термины» и поновее, но использование многих из них носит чисто знаковый характер. Автор светит определенными словами, как ночной корабль опознавательными огнями, чтобы читателю стало ясно, к какому направлению или группе лиц сочинителю хотелось бы себя причислить.

Как бы то ни было, теоретические вопросы обсуждают и у нас все меньше, а конкретные методики – все больше, да и конференции, привлекающие внимание, посвящаются последнее время не столько осмыслению исторического процесса вообще, сколько чему-нибудь более конкретному, например, анализу одной-единственной ночи (которая, правда, была Варфоломеевской). Если история как набор полузасушенных социологических закономерностей (марксистского или немарксистского происхождения – не так важно) действительно исчезает, то на смену ей должен прийти иной доминирующий тип историописания. Как и на Западе, в нем будут превалировать «знаточеские» конкретные штудии, порой раздражающие своей фрагментарностью, вырванностью из сколько-нибудь широкого контекста. Писать, правда, будет принято намного веселее и интереснее, чем сейчас, хотя бы из соображений рекламы. Прошло то время, когда автора академической монографии совершенно не интересовало мнение публики: оно не сказывалось ни на принятии книжки к печати, ни на ее тираже, ни на ее оценке. Теперь за читателя вне пределов ничтожно узкого круга специалистов (а значит, в конечном счете и за спонсора для новых исследований) придется побороться: у того есть много приятных способов провести время, так стоит ли ему, например, выключать видео ради какого-то исторического сочинения? Тяжеловесные монографии классического типа, вероятно, несколько потеряют в значении, а статьи и исторические эссе, напротив, станут более уважаемыми жанрами исторической прозы. Во всяком случае, безусловное право быть толстым сохранится, наверное, только за справочниками: откуда у нынешнего человека время осиливать большую книгу?

Но все же главное, скорее всего, – это установка автора не на вписывание «своего» фрагмента прошлого во все расширяющийся круг заданных некими внешними теоретическими установками внешних связей, а на углубленное выявление собственных свойств именно этого фрагмента «на фоне» индивидуального личного опыта исследователя. При должном тщании и хорошей профессиональной подготовке внутри таких осколков, может быть, и удастся разыскать нечто намного большее, чем эти осколки сами по себе... Собственно, этим и стараются в меру своих сил заниматься авторы альманаха «Казус», в число почетных членов которого они с удовольствием приняли бы и, кажется, в чем-то несколько сходным образом понимавшего историю Геродота из Галикарнаса.

## Послесловие автора

Эта статья, законченная в первые месяцы 1998 г., наделала в свое время немало шума и даже вызвала маленький международный скандал. Когда Ю. Л. Бессмертный предложил мне как соредактору написать «что-нибудь теоретическое» для второго выпуска «Казуса», я решил, что в новом альманахе и теоретизировать следует по-новому. Юрий Львович понял содержание сданной мной ему рукописи глубже едва ли не всех ее будущих оппонентов, но сам ее ни хвалить, ни критиковать сразу не стал. Вместо этого он выставил мое сочинение на два публичных

обсуждения. В марте того же года статью рассматривали в постоянном семинаре, которым Ю. Л. руководил, а в октябре ее еще раз критиковали в ходе большой конференции по микро- и макроподходам, тоже созванной Ю. Л. Основное содержание первой дискуссии передано в «Казусе-1999», а второй – на страницах сборника «Историк в поиске» (кстати, и без того на удивление содержательного). Второе обсуждение мне запомнилось лучше – во многом благодаря ощущению глухой враждебности, исходившей если и не от всего зала, то от значительной его части. Впрочем, на классическую советскую проработку это мероприятие уже, конечно, никак не тянуло, – Ю. Л. такого просто не допустил бы. Тем не менее на меня слегка повеяло чем-то из того прошлого, о котором старшие изредка вспоминали, поживаясь. Большинство выступлений оказались либо критическими, либо снисходительными. Было заметно, что дискуссия носит не совсем академический характер, что многие чувствуют себя лично задетыми, но по каким именно причинам, из того, что говорилось с трибуны, понять было сложно. По наивности я полагал, что речь пойдет о проблемах исторического сообщества, которые я пытаюсь если и не анализировать должным образом, то хотя бы называть, но разговор почему-то и дело сворачивал на мои профессиональные и личные несовершенства. Особенно огорчил неприязненный тон А. Я. Гуревича. Для меня оказалось полной неожиданностью, что человек, вроде бы много натерпевшийся от собственной неортодоксальности, может так нетерпимо реагировать на вольность, допущенную кем-то другим. Впрочем, его раздражение адресовалось, конечно, в первую очередь Ю. Л., а мне досталось скорее заодно...

Прошел год, и вся эта история начала уже забываться, когда от немецких друзей пришла весть, что обо мне появилась публикация не где-нибудь, а во *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. Правда, сообщали они мне об этом кислым тоном и почему-то без всяких поздравлений. Действительно, в одном из сентябрьских номеров за 1999 г. вышел двухколонник под заголовком «Вперед, к Геродоту. Российские историки в поисках истории». Автором была Ютта Шеррер, часто публиковавшая в немецких газетах заметки о российской перестроечной и постперестроечной *Intelligenzija*, симпатичной, но, увы, сильно отягощенной советским ментальным наследием. По поводу моей статьи Шеррер задавалась вопросом, выразил ли я в ней свой «культурный пессимизм, помноженный на антизападничество» или же убеждение, что «Россия призвана придать новый смысл и значение истории – в порядке компенсации за перенесенное национальное унижение». Ну и в целом моя аргументация воочию показала ей, «сколь долгий путь еще предстоит пройти (русской интеллигенции. – М. Б.) к освобождению от критериев, господствовавших в советском обществе на протяжении более семидесяти лет». Воистину, в чужой культуре и в чужом языке сложнее всего понять иронию. Скорее невзначай все можно вывернуть наизнанку...

Мне пришлось отправить протест редактору FAZ Хеннингу Риттеру из-за полного искажения в его газете моей позиции, что, дескать, нанесло ущерб моей репутации в глазах немецких коллег. К письму прилагалась и саркастическая реплика «Постмодернистский Геродот. Еще раз о новейших спорах историков в России». Риттер вежливо ответил, что не имел бы ничего против ее публикации, если бы не прошло уже более двух месяцев после выхода статьи Шеррер. Да и вообще вряд ли это ее собственная интерпретация: она, должно быть, всего лишь воспроизвела суждения моих же русских коллег. Тем не менее мою критику он ей перешлет. После этого мне не оставалось ничего иного, как рассылать мой неопубликованный памфлет по почтовым ящикам немецких коллег и друзей. Среди них был и Отто Герхард Эксле, директор Института истории Общества им. Макса Планка, ценивший российских историков и всячески их поддерживавший. Наши с Шеррер противоречия так его взволновали, что он попросил меня поскорее приехать и дать ему возможность составить собственное мнение о моих тезисах. Выходит, именно благодаря Ютте Шеррер мне и довелось в феврале 2000 г. прочитать большой доклад «про Геродота» в Гёттингене. После него беспокойство Эксле улеглось: видимо, особенно реакционных суждений он у меня все-таки не услышал... Еще через два года



сокращенный и чуть переименованный вариант все той же статьи в немецком переводе вышел в последнем выпуске *Rechtshistorisches Journal*. При всяком подходящем случае теперь говорю, что почтенный журнал закрыли сразу же после того, как в нем напечатали меня. На самом деле мою немецкую статью едва ли вообще кто-либо заметил – во всяком случае, никаких откликов на «Vorwärts zu Herodot!» мне не поступало. Уже не помню, отослал ли я оттиск Ютте Шеррер... Вообще-то мы были давно знакомы и при редких встречах вежливо приветствовали друг друга. Тем больше возмущения вызвала у меня ее заметка. Пускай предполагалось, что мне вообще не следовало о ней узнать, но разве госпоже Шеррер сложно было предварительно перепроверить впечатления (то ли собственные, то ли и впрямь ее туповатых русских конфидентов) в непринужденной беседе со мной – главным отрицательным героем задуманной статьи?

С Риттером мы несколько лет спустя однажды встретились во вполне неформальной обстановке. Мое напоминание о том случае удовольствия ему не доставило. Однако предоставить посильную компенсацию он все же посчитал нужным – и заказал мне лишний стакан не очень вкусного пива...

Еще в феврале 1999 г. большие отрывки из моей статьи – разумеется, с моего ведома и согласия – перепечатала «Культура – еженедельная газета интеллигенции». Название осталось тем же – «Вперед, к Геродоту!», но редакция добавила провокационный подзаголовок: «К концу XX века Россия осталась единственной страной мира, в которой еще существует историческая наука». Да и каждому отрывку были даны не менее лихие заглавия: «Возвращение дьявола», «Игры черного человека», «В холодильнике», «Период тихого полураспада»... Может, именно яркие редакционные находки «Культуры» привлекли внимание историка и радиожурналиста Владимира Тольца, посвятившего моему опусу в марте того же года целую передачу из его цикла «Разница во времени». Назвал он ее тоже хлестко: «Есть ли будущее у науки о прошлом?» Зачин у него звучал так: «Уже за год до публикации газетного варианта работы, о которой сегодня пойдет речь, она оказалась предметом самых острых дискуссий в узких кругах широко известных специалистов. Многие из них высказывались довольно гневно: рассуждения московского медиевиста могут-де повредить умы юношества, пестуемого в бесчисленных аудиториях российских истфаков, превратно представляют нам настоящее и вообще зовут в прошлое». Как на вопросы В. С. Тольца отвечали Ю. Н. Афанасьев, А. С. Ахизер, А. Я. Гуревич и Б. М. Парамонов, легко найти в интернете. На мой вкус, дискуссия часто отклонялась то в одну сторону, то в другую от того, что мне представлялось бы ее сутью, но в целом «Геродота» оценили скорее положительно или же нейтрально. Диссонансом прозвучали реплики А. Я. Гуревича. В одной из них он удивительно совпал с Юттой Шеррер: оказывается, я из тех, кто полагает Россию «родиной слонов», поскольку утверждаю, будто «в нашей стране историческая наука добивается таких успехов, каких не добилась историческая наука в остальных странах мира». Тут очень кстати оказалась подмонтирована реплика Ю. Н. Афанасьева, расслышавшего у меня, в отличие от Арона Яковлевича, «издевку или сарказм» и солидаризировавшегося с моей оценкой «самоуверенной позы» отечественной исторической науки...

Тех читателей, у которых «Вперед, к Геродоту!» и сегодня вызывает внутреннее несогласие, а то и протест, я бы на всякий случай просил просмотреть мое заключение к дискуссии во втором выпуске «Казуса». Вдруг я уже успел дать там ответ на какие-нибудь вновь возникшие недоуменные вопросы... Тем же, кому стиль «Геродота» показался сколько-нибудь привлекательным, рекомендую «продолжение» – статью «Выживет ли Клио при глобализации?», вышедшую в «Казусе-2005».

## П. Ю. Уваров

### Апокатастасис, или Основной инстинкт историка <sup>147</sup>

*Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский... Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что... в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.*  
**Н. В. Гоголь. Ревизор**

Всех людей можно разделить на две группы. Одним от этих слов хочется плакать. Другие или посмеются (комедия все-таки), или пожмут недоуменно плечами (комедия, а не смешно). Но почему же для Гоголя так важно, чтобы мы узнали об этих интенциях Бобчинского и, главное, о нем самом, о пустом, в сущности, человеке?

Когда долго препарируешь исторический источник (дневниковые записи, актовый материал, полиптики) и стараешься сделать его пригодным для сериальной истории, загоня сведения в графы таблиц, готовя их для банка данных, то сталкиваешься с нарастающим сопротивлением материала. И вдруг делаешь открытие, что перед тобой живые люди, со своими судьбами, своими неповторимыми особенностями – добродетелями, пороками и маленькими недостатками. И тогда внезапно возникает удивительное и незабываемое ощущение первого живого контакта – перед тобой реальный человек, и сейчас произойдет что-то очень важное. Затем продолжаешь работу, и возникает множество проблем, связанных чаще всего с оценкой репрезентативности материала («Нет, вы скажите, а сколько процентов от этой выборки думали и поступали именно таким образом?»), с механизмами генерализации (как, перейдя к общему, сохранить и передать ценность уникального/частного и, с другой стороны, как из этой уникальности можно вообще извлечь что-либо общее?). Но за всеми хлопотами остается незабываемым изумление от первого контакта. И по здравом размышлении непонятно, чему удивляешься больше: самому ли контакту или своей реакции на него. Ведь, в сущности, что здесь необычайного – разве историк не знал заранее, что за источником стоят конкретные люди?

Не осмелился бы делать предметом рефлексии свои эмоции, если бы опыт многолетнего общения с историками, составившими авторский контингент альманаха «Казус», не показал, что нечто подобное испытывают некоторые (однако далеко не все) из моих коллег. На заседаниях <sup>148</sup> часто можно было услышать фразу: «Что может быть для человека интереснее, чем другой человек», или термин «Оживление бумажных человечков», или декларацию: «Моя задача – увидеть французов XVI века во плоти», а то и крик души одного из самых уважаемых наших участников: «Да вы что, не понимаете, что перед вами живые люди!» И в ответ на этот «оживительный пафос» – неизменный и резонный вопрос другой части участников: «А зачем?» Вытаскивать из небытия, материализовывать и сообщать Петербургу и миру о существовании в истории Петра Ивановича Бобчинского можно и даже должно (с этим теперь согласны почти все мои коллеги), но только если за этим стоит какая-то видимая исследовательская цель. Можно на его примере реконструировать тип мелкопоместного провинциального дворянина николаевской эпохи или можно порассуждать о норме и отклонении в поведении личности в

---

<sup>147</sup> Уваров П. Ю. Апокатастасис, или Основной инстинкт историка // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2000 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 3. М., 2000. С. 15–32; *Он же*. Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках. М., 2015. С. 10–32.]

<sup>148</sup> Речь шла о заседаниях семинара по истории частной жизни и повседневности, начавшего действовать в Институте всеобщей истории РАН под руководством Ю. Л. Бессмертного с 1994 г. Одним из побочных результатов работы семинара стал как сборник «Историк в поиске», так и сама идея альманаха «Казус». – *Примеч. авт.*]

ту же эпоху, на худой конец, включить полученные данные в обширное просопографическое исследование.

Но если же последующей генерализации не происходит, если усилия по реинкарнации Петра Ивановича являются самоцелью, если историк будет лишь набирать побольше информации о каждом встреченном им персонаже, то под угрозой оказывается сам метод микроисторического, да и всякого другого исторического исследования. Тогда лучшим образцом для историка может считаться телефонная книга.

И это разговор «среди своих»; а когда же приходится выходить на более широкую аудиторию, пусть даже состоящую из коллег-историков, не вкусивших еще плода от древа микроистории, то здесь недоумения будет куда больше, и даже в альманахе «Казус» увидят в лучшем случае коммерческое предприятие, популяризацию, потакание вкусам толпы.

Возражать на это можно долго и со вкусом. Сослаться на сенсационный успех у публики «Песни о Волге» Резо Габриадзе: Сталинградская битва на фоне трагедии муравья, потерявшего своего муравьенка в бомбежке!<sup>149</sup> Указать на возрождение биографического жанра – как нового, обогащенного методологическими находками последних лет, так и вполне традиционного, проверенного веками. Напомнить о таинственном «мормонском проекте», о котором вполголоса судачат архивные работники во всем мире (зачем это предприимчивым американцам из штата Юта понадобились «мертвые души» наших предков?)<sup>150</sup>. И наконец, сослаться на пространную библиографию всевозможных «*Geschichte von unten*», «*microstoria*», «*personal history*». Последний ряд аргументов, как правило, оказывается решающим, ведь историографическая ситуация, историографическая мода – это то, что магически действовало на коллег еще в советские времена.

Итак, разочарование в глобалистских моделях, привлекательность «человеческого измерения», конец великих идей и идеологий, повлекший за собой неизбежное мелкотемье. Все это верно, но в данном случае недостаточно. Ведь «комплекс Бобчинского» (назовем так этот шок, вызванный осознанием, что перед тобой живой человек, и рождающий стремление к максимально полному восстановлению этого человека) возникал и у меня, и у моих коллег независимо от знакомства с трудами Карло Гинзбурга и, возможно, был свойствен нашим предшественникам задолго до микроисторических парадигм.

Весьма поучительно обратиться к поискам, которые вел в этом направлении столь чтимый ныне Л. П. Карсавин. В монографии «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках преимущественно в Италии» (1915) он декларирует свою задачу «выделить, а затем изучить объект религиозности в XII–XIII веках. Он останется в вере за вычетом ее окаменевших формул, с одной стороны, за вычетом результатов чисто богословской работы над нею, с другой... При этом изучению подлежит не религиозность того или иного представителя названной эпохи, великого или малого, а религиозность широких кругов, которая проявляется и в великих, и в малых»<sup>151</sup>.

<sup>149</sup> В конце 1990-х гг. в Москве прошли гастроли театра марионеток Резо Габриадзе с его «Сталинградской битвой» (в первом варианте – «Песня о Волге»). Там, конечно, повествовалось не только про муравьев, но в финале муравьях голосом Лии Ахеджаковой причитала по погибшему муравьенку... Вот, кстати, вопрос об изменении времени: сейчас был бы возможен такой спектакль? – *Примеч. авт.*

<sup>150</sup> Тогда, в 1990-е гг., мормонская Церковь Иисуса Христа святых последних дней через основанный ею Центр семейной истории активно заключала договоры с обнищавшими восточноевропейскими архивами для микрофильмирования метрических книг и другой генеалогической документации. Микрофильмы свозились в особое хранилище в Скалистых горах. Дело в том, что для блаженства мормона в следующей жизни ему надо обеспечить правильное крещение для как можно большего числа людей, причем не обязательно живых. Первоначально задним числом крестили в основном своих предков, а затем круг «обращаемых посмертно» расширился. – *Примеч. авт.*

<sup>151</sup> Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках преимущественно в Италии. СПб., 1915. С. 6.

Это дало возможность говорить о его приоритете в изучении «ментальности»<sup>152</sup>. Конечно, видеть в нем провозвестника школы «Анналов» и соратника Марка Блока не более обоснованно, чем в случае с творчеством Эрнста Канторовича<sup>153</sup>, – слишком различными были методологические и мировоззренческие установки. Однако ориентация на изучение коллективных религиозных представлений вполне очевидна. Этому же способствует введенное Карсавиным понятие «средний человек», перекликающееся с «идеальными типами» Вебера. Любопытный парадокс модному ныне «исключительному нормальному» можно найти в карсавинском понятии «типический человек». Сюда относятся выдающиеся личности, которые оказываются особо полезными и удобными для познания среднего. «В них та или иная черта достигает высшего напряжения и развития, а следовательно – и наглядности». Подобное замечание повторялось и повторяется сторонниками микроисторических подходов – но трудно не заметить, что и в данном случае Лев Платонович отнюдь не склонен увлекаться уникальностью чьей бы то ни было личности. У гения «есть и некоторые только ему присущие черты. Но они нас не занимают и не входят в область нашего изучения»<sup>154</sup>. И как бы ни оценивать взгляды и методы его в тот период, ему вполне можно переадресовать те упреки в обезличенности, которые бросают сейчас не только социальным историкам, но и историкам ментальностей.

Прошло всего пять лет (но каких лет!), и во «Введении в историю», являвшемся, по замыслу автора, руководством для начинающего историка, акценты уже расставлены иначе. Карсавин не отказывается от своих любимых детищ – от «среднего человека эпохи» и «типического человека», но они занимают в его новой системе положение явных аутсайдеров. О них упомянуто буквально на последних страницах этой брошюры и говорится вскользь, с глухой отсылкой к книге 1915 г.

Автора в первую очередь занимает мысль совсем иного рода: «История изучает единственный процесс развития во всей его конкретности и единичности не как экземпляр развития родового и не как родовой или общий процесс, проявляющийся в частных и являющийся для них „законом“... Объект исторического исследования всегда представляет собою некоторое органическое единство как таковое, отличное от окружающего и в своеобразии своем незаменимое – неповторимо ценный момент развития»<sup>155</sup>.

Иными словами, г-н Бобчинский мог бы быть ценен для Льва Платоновича сам по себе, а вовсе не как частный случай действия глобальных законов и не как объект для генерализации. Более того, начинающему историку так прямо и рекомендуется заняться изучением тайн его души в первую очередь: «...предметом истории является изучение социально-психического процесса. Понимание его, как и понимание чужой души возможно только путем сопереживания или вживания в них»<sup>156</sup>. Вчувствование (*Einfühlung*), сопереживание лежит в основе исторического мышления. Подкрепляя эту декларацию ссылками на мнение самонадеявшихся по тем временам Зиммеля и Дильтея, Карсавин категорически не согласен с субъективизмом последнего. Субъективные переживания и самоощущение историка никоим образом не должны отвлекать от главного: «Речь идет не только и не столько о субъективном переживании исследователя, но о реальном проникновении в душевный процесс, подлинное слияние с ним, как бы ни называлось такое вживание в чужую индивидуальную или коллективную душу». «Несомненно, что, изучая данный конкретный процесс, мы постигаем строение единого исто-

<sup>152</sup> См., например: Ястребицкая А. Л. Историк-медиевист Лев Платонович Карсавин (1882-1952). М., 1991.

<sup>153</sup> Эксле О. Г. Немцы не в ладу с современностью. «Император Фридрих II» Эрнста Канторовича в политической полемике времен Веймарской республики // Одиссей. 1996. М., 1997.

<sup>154</sup> Карсавин Л. П. Основы. С. 12-13.

<sup>155</sup> Карсавин Л. П. Введение в историю (теория истории). Пг., 1920. С. 33-34.

<sup>156</sup> Там же. С. 15.

рического процесса как единства. И постигаем не путем отвлечения от данной конкретности, а путем вживания в само это единство»<sup>157</sup>.

Как организовать это «вживание», можно только догадываться. Возможно, то была дань интуитивизму – ведь коллега Карсавина П. М. Бицилли записал его в заядлые сторонники Бергсона<sup>158</sup>. И действительно, интуиции историка Карсавин отводит большую роль. Но это не какое-то врожденное качество. Тем Лев Платонович и привлекателен для нас, что он не был чистым методологом или историософом. Проведя много времени в архивах, он понимал, что мастерство историка и его интуиция рождаются от того, что он уже «кончиками пальцев» знает материал, погружен в него. И подробные инструкции о том, как писать историю, ему, в сущности, не нужны. Отсюда его скептическое отношение к пуризму «французских методологов, пытающихся спасти научность истории предъявлением ригористических и зачастую невыполнимых требований»<sup>159</sup>.

Но для «вживания» в социально-психическое единство одного упорного труда и протертых в архивах брюк недостаточно – нужно еще некое озарение: «При понимании чужой душевной жизни как целого, при постижении чужой индивидуальности в ее единстве накопление наблюдений само по себе дает еще очень мало – можно знать о другом весьма большое количество фактов и все-таки его не понимать. Напротив, часто одна какая-нибудь черта, даже незначительная частность: тон голоса, движение, поворот головы и т. п. позволяют сразу охватить и понять всю личность, всю индивидуальность этого человека, почти чудесным и неожиданным образом постичь необходимость его внутреннего развития, подлинно понять его. Такое понимание другой индивидуальности возможно и при малом с нею знакомстве, по „первому впечатлению“, но, как правило, оно появляется в процессе наблюдения, освещая и объединяя познание дробно и отрывочно...»<sup>160</sup>

Уверен, что многие из моих коллег с энтузиазмом согласятся с подобными наблюдениями. Причем Лев Платонович вполне осознанно балансирует на той грани, что отделяет историка от литератора. В 1920 г. он опровергает Дильтея: «Конструирование иного душевного процесса по аналогии с моим и только из моего... сближает историю с поэзией, но не дает возможности серьезно отнестись к выводам истории и обосновать ее как науку»<sup>161</sup>. Но три года спустя, в фундаментальной и уже куда более сложной «Философии истории», он охотно делает шаг навстречу литературе, поясняя вводимое понятие «момента всеединства»: «Хорошим и вдумчивым художникам-романистам, историкам и даже читателям написанных теми и другими произведений не трудно пояснить взаимоотношение моментов во всеединстве – мы познаем человека не путем простого собирания сведений и наблюдений о нем: подобное собирание, само по себе, совершенно бесполезно, или полезно лишь как средство сосредоточиться на человеке. Во время этого собирания, а часто и при первом знакомстве „с первого взгляда“ мы вдруг, внезапно и неожиданно постигаем своеобразное существо человека, его личность. Мы заметили только эту его позу, эту его фразу, и в них, в позе или фразе, сразу схватили то, чего не могли уловить в многочисленных прежних наблюдениях, если таковые у нас были. И не случайно любовь, которая есть вместе с тем и высшая форма познания, возникает внезапно. Определить, передать словами схваченное нами „нечто“ мы не в силах»<sup>162</sup>.

<sup>157</sup> Там же. С. 26.

<sup>158</sup> Бицилли П. М. Очерки теории исторической науки. Прага, 1925.

<sup>159</sup> Он ссылаясь при этом на перевод широко известной книги: Ланглюа Ш., Сеньобос Э. Введение в изучение истории. СПб., 1899.

<sup>160</sup> Карсавин Л. П. Введение в историю. С. 25.

<sup>161</sup> Карсавин Л. П. Введение в историю. С. 16.

<sup>162</sup> Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 65.

Разрыв, который наметился между ним и сообществом коллег-историков уже в 1915 г., стал, таким образом, необратимым. Признаться в том, что историк должен полюбить объект своего исследования, чтобы понять его, – такие откровения не прощаются учеными<sup>163</sup>.

Но, рассорившись со всеми (и с нахрапистыми марксистами, и с чопорной петербургской профессурой), автор, наделенный от природы едким критическим умом, по-прежнему снисходителен к бывшим коллегам. Декларируя необходимость методологии, системы четких исторических понятий, он признает, что у большинства историков (и блестящих историков) нет не только системы понятий, но и системы мировоззрения, но это им нисколько не мешает. Ведь историк довольствуется интуицией, называя ее чутьем, «девинацией»<sup>164</sup>.

Упорное нежелание историков определять исследуемую историческую индивидуальность, будь то «французский крестьянин», «немецкий народ» или «Япония», «может побудить теоретика истории к весьма решительному шагу. Он скажет, что история не должна считаться наукою, а если хочет быть ею – должна усовершенствовать свой метод. Он, может быть – теоретики вообще отличаются категоричностью и смелостью своих действий – выдумает новую науку... Историки же теоретика и слушать не станут, а будут продолжать свое дело»<sup>165</sup>. И такую беззаботность Карсавин не осуждает, поступая с собратьями куда великодушнее, чем его современник (и во многом единомышленник) Коллингвуд, настаивавший на том, что всякий историк должен быть еще и хорошим философом<sup>166</sup>.

Пока все сказанное, как представляется, вполне понятно читателям, близким к «Казусу», где мы обсуждаем примерно те же проблемы. Но что же все-таки произошло между 1915 и 1920 гг.? Почему Лев Платонович вдруг уверовал в приоритеты изучения неповторимой индивидуальности, почему он отныне не боится того, что история рассыплется на мозаику не связанных фактов и фактиков, почему он, знаток средневековой философии, не опасается теперь номиналистического искуса? Дело в том, что в этот период ему открылось величие идеи Абсолюта как всеединства: «Чтобы могли существовать развитие и наука о нем, субъект развития должен быть всевременным и всепространственным единством... Единство субъекта должно совмещаться с многообразием его проявлений, быть многоединством... Мы познаем и всеобщую значимость данного процесса, не в смысле причинной его связанности с другими, а в смысле укорененности его в общеисторическом»<sup>167</sup>. Поэтому индивидуальность – личная или коллективная – является лишь *моментом* всеединства. Но это не мало, это придает любому объекту огромную ценность. «В истории всякое, даже самое частное исследование взаимоотношений между несколькими рукописями одного источника само собою будет исследованием общеисторического характера и возможно только на почве его связи с познанием целокупности социального развития»<sup>168</sup>.

Достаточно подняться до осознания этого всеединства, и историк освобождается от груза неразрешимых ранее проблем, снимая противоречия общего и частного, объективного и субъективного. «Через постижение самого частного и ограниченного процесса происходит приобщение наше к нему и в нем к единому общеисторическому процессу развития или, вернее, опознание нами нашего с ним и в нем единства. Этою живою связью нашей со всем прошлым и со всем социально-психическим развитием и объясняются обогащение нашего сознания в исторической работе и тот интерес, с каким мы относимся к фактам минувшего»<sup>169</sup>.

---

<sup>163</sup> Так, археологи, за редчайшим исключением, никогда не признаются в своих монографиях в том, что они очень любят ездить в экспедиции.

<sup>164</sup> Карсавин Л. П. Введение в историю. С. 29.

<sup>165</sup> Карсавин Л. П. Философия истории. С. 117-116.

<sup>166</sup> Киссель М. А. Р. Дж. Коллингвуд – историк и философ // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. М., 1980. С. 424.

<sup>167</sup> Карсавин Л. П. Введение в историю. С. 10.

<sup>168</sup> Там же. С. 26.

<sup>169</sup> Там же.

Не знаю, как моих коллег, но меня, например, все это вполне устраивает. Да и путь к постижению этой истины вполне понятен и достоин уважения. Творческая работа в архивах вызывает у молодого исследователя неудовлетворенность господствующими позитивистскими и нарождающимися неопозитивистскими интерпретационными моделями. Предвосхитив интерес к ментальности и к «исключительному нормальному», русский историк на этом не останавливается, но в годы социальных катаклизмов и личных испытаний продолжает гносеологические искания и обосновывает собственную метафизическую систему, основываясь на традициях неоплатонизма и на средневековом философском наследии (в особенности на учении Николая Кузанского об *«exglomeratio et conglomeratio centri»*, о свертывании и развертывании Абсолюта как Всеединства). Лежащее в основе системы Карсавина онтологическое отношение Бога и человека дает возможность обосновать исключительную ценность индивидуального для понимания органического единства исторического развития.

Какая величественная исследовательская перспектива! Историк может, отбросив всякие сомнения, заняться казусами, персоналиями и придать наконец фигуре Петра Ивановича Бобчинского подобающие ей космические масштабы в качестве момента стяженного всеединства; и теперь профессиональное мастерство заключается в том, чтобы показать укорененность его в эпохе и эпохи в нем, а не гоняться за призрачными «причинами» и «факторами». Да, лозунг, выдвинутый М. А. Бойцовым, вполне можно было бы дополнить слоганом: «Вперед, к Карсавину!»

Но историографический хеппи-энд получился не слишком убедительным. Ведь сам автор, создав стройную систему и применив ее в замечательной книге о Джордано Бруно<sup>170</sup>, повел себя затем несколько странно. Всесторонне оснащенный, этот одаренный исследователь, историк милостью Божией, казалось, должен был горы свернуть. Да и биография его сложилась счастливее, чем у большинства современников. Советская власть добралась до него лишь четверть века спустя, ему удалось остаться профессором всеобщей истории в Университете Витутаса Великого, сложностей с работой в архивах и библиотеках у него не было. Вот только как «практикующий историк» он кончился. Его философские и богословские труды, его «Поэма о смерти», его диалоги и уже лагерные записи глубоки и талантливы, но историку там пожить нечем<sup>171</sup>.

Что же произошло, биографический перелом или органическая эволюция талантливого и ироничного историка в самобытного деятеля русского религиозно-философского Возрождения?

Проницательный М. А. Бойцов отмечает значение экспериментальных стилизаций Карсавина – *«Saligia»* и *«Noctes petropolitanae»*<sup>172</sup> – и вспоминает о страстном его увлечении театром. «Не оттуда ли и идея вживания в прошлое как главного средства его познания?»<sup>173</sup> Но, как истинный сын своего Серебряного века, Карсавин не мог видеть в игре лишь игру, а в театре лишь театр. Ведь «оргиастические барабаны», которые, по мысли Стефана Георге (учителя<sup>174</sup> Эрнста Канторовича), должны были преобразовать мир, вполне созвучны пророчеству Вячеслава Иванова – «страна покроется фимелами и оркестрами». Культурный контекст эпохи под-

<sup>170</sup> Карсавин Л. П. Джордано Бруно. Берлин, 1923. Книга была написана значительно раньше и должна была печататься в Петрограде, но выдворение автора на «философском пароходе» 1922 г. сделало ее издание в России невозможным.

<sup>171</sup> Остается, правда, надежда, что когда-либо переведут с литовского его пространный курс «Истории европейской культуры», но, по всей вероятности, и он относится скорее к историософии, чем к конкретной истории.

<sup>172</sup> Карсавин Л. П. *Saligia*, или Весьма краткое и душеполезное размышление о боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах. Пг., 1919; *Он же. Noctes petropolitanae*. Пг., 1922.

<sup>173</sup> Бойцов М. А. Не до конца забытый медиевист из эпохи русского модерна // Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992. С. 14.

<sup>174</sup> В первом издании вместо слова «учитель» стояло «гуру», несколько более емкое слово. Но редактору это показалось неуместным. Можно, конечно, было побороться за «гуру», но это потребовало бы дополнительных экскурсов в биографию Э. Канторовича, и древо повествования рисковало превратиться в ветвистый куст. – *Примеч. авт.*

сказывал, что игры Льва Платоновича свидетельствовали о его куда больших амбициях, чем чисто академические штудии. Хороший историк в России всегда, увы, больше чем историк.

Но вернемся к «Введению в историю». Критикуя там теорию прогресса (что ныне также весьма популярно), он пишет, что сей идеал, то есть полнота жизни человечества во всех ее проявлениях и счастье, несостоятелен: «Для того чтобы стать нравственно приемлемым, идеал должен сделаться достоянием всех людей, как еще не рожденных, так и нас и умерших. С другой стороны, из него нельзя устранить ни одного из достижений прошлого, которые в силу их неповторимой и конкретной индивидуальности не могут быть так же воспроизведены грядущими поколениями и должны быть реальностью, а не образами воспоминания. Все это достижимо лишь во всевременном и всепространственном реальном синтезе исторического развития»<sup>175</sup>.

Незабвенная коллежская регистраторша Коробочка при этих словах непременно перекрестилась бы: не просто сохранить добрую память о Бобчинском, но его самого сделать *реальностью*! Так и слышится ее вопрос: «Да как же, я, право, в толк-то не возьму? Нешто хочешь ты их откапывать из земли?» Петр Иванович, выходит, не зря просил замолвить за него словечко – не только его неповторимая индивидуальность важна для нас и для наших целей, но и наш скромный труд, оказывается, очень важен для него. А Карсавин продолжает: «Развертывающийся ныне перед нами и воспринимаемый нами во времени и в пространстве процесс, процесс, удручающий нас видимым погибанием и умиранием, должен стать для нас реальным во всей своей конкретности, во всех своих моментах. А это возможно, только если „мы изменимся“, если преодолеем пространство, если „небеса совятся в свиток“, а время преобразуется в вечность. И такое понимание идеала или „прогресса“ не только согласуется с принципами истории, из них вытекая, но и устраняет все отмеченные нами противоречия. Оно вместе с тем оправдывает смысл и назначение всякого момента истории и всякого индивидуального труда... Оно, наконец, позволяет понимать историческое познание как приближение к истинному всевременному познанию и приобщение ко всевременному единому бытию»<sup>176</sup>.

Не надо было быть медиевистом, чтобы в 1920 г. чувствовать, что небеса вот-вот совятся в свиток. И все же не эсхатологический ужас перед «Концом истории» (и не по Фукуяме, а по Асахаре) занимает мыслителя, равно как удручают его не ужасы большевизма, голод или тиф сами по себе, а смерть как явление, как философская проблема. Смысл деятельности историка, да и всего человечества, – в победе над смертью.

Через десять лет Карсавин написал прекрасное произведение – «Поэму о смерти». Там можно найти все старые идеи бывшего историка: и «вчувствование» – поэма открывается образом женщины на костре, и всеобщую связь людей, и важность индивидуального для всеобщего, и проклятие смерти. «Какие-то нежные тоненькие ниточки связывают всех нас, и живых и мертвых, весь мир, становятся все тоньше и не рвутся. Не ниточки – тоненькие жилки, по которым бежит наша общая кровь. Наши неслышимые вздохи сливаются в один тяжелый вздох. Наши слабенькие стоны – в невыносимый вопль всего живого, в бессильные проклятия страданиям и смерти. Разве необходимо, чтобы стон человечества был одноголосым? Он может быть и полифоничным. Так еще величественнее»<sup>177</sup>. И конечно, в этом лабиринте любовь становится путеводной нитью, и он рассуждает о судьбе своей возлюбленной Элените после смерти:

«Нет, не существует души, которая вместе с тем не была бы и вечно умирающим телом. Тело же твое лишь один из центров и образов безграничного мира... В другом мире и в другой плоти не может быть этот момент души. Только из этого тела сознаю я свой мир. Только в этом моем теле он так сознает себя и страдает...»

<sup>175</sup> Карсавин Л. П. Введение в историю. С. 33.

<sup>176</sup> Там же.

<sup>177</sup> Карсавин Л. П. Поэма о смерти. Каунас, 1932. С. 15.



«У Элените, как у Габсбургов, несколько выдается нижняя губа, и на верхней маленькая бородавка. Найдется ли этим „недостаткам“ место в „совершенном“ эфирном теле? – Если захочешь, будут тебе и Габсбургская губа, и бородавка.

Хочу, чтобы она во всем была лучше других. Но хочу, чтобы она осталась и такую, какой была. Придумай-ка подобное тело! При одной мысли о нем смутится даже св. Григорий Нисский»<sup>178</sup>.

Этот «Великий каппадокиец» вспоминается Львом Платоновичем в наивысший момент его творчества далеко не случайно. Григорий Нисский чрезвычайно важен для мировоззрения Карсавина. В 1926 г. в Париже он издает учебное пособие для русской семинарии «Святые отцы и учителя церкви». Лучшие страницы посвящены были этому отцу церкви. Вот как излагаются его взгляды:

«Все мировое развитие завершится „восстановлением всяческого“ (*αποκατάστασις τῶν πάντων*). Однако земное бытие не теряет при этом... своего единократного и центрального значения... Когда все люди родятся, но не все еще умрут, оставшиеся в живых изменятся, а мертвые воскреснут: и те и другие для возвращения в нерасторжимое единство, ранее объединенное в одном целом и по разложении вновь соединившееся. Ведь, как пишет святой, если управляющая вселенною Сила даст разложившимся стихиям знак воссоединиться, душа восстановит цепь своего тела. Причем каждая часть будет установлена вновь согласно с первоначальным обычным для нее состоянием и примет знакомый ей вид...

Воскресшее тело будет телом индивидуальным. – „Что для меня воскресение, если вместо меня возвратится к жизни кто-то другой? Как узнаю себя самого в себе уже не себя?“ И лишь по восстановлении и очищении всего наступит „день осьмой“, „день великий“. Истинно и всецело будет Бог „всяческим во всяческом“».

«Система Григория Нисского – одно из высших и самых глубоких индивидуальных осмыслений христианства, далеко еще не понятое и не оцененное», – делает вывод автор<sup>179</sup>.

Святой отец напряженно думал над проблемами апокатастасиса, объясняя, например, каким образом возможно восстановить тело умершего, после того как оно разложилось: в посмертном рассеянии душа как бы охраняет своей метой каждую частичку бывшего человеческого единства. И подобных рассуждений у Григория Нисского немало. Но насколько важны будущим священникам эти сюжеты для «раскрытия православия»? Современник и оппонент Карсавина, оказавшийся более него удачливым в преподавании богословия парижским студентам, – В. Н. Лосский – говорит об апокатастасисе лишь в одном из своих трудов, причем очень кратко: «После воплощения и воскрешения смерть не спокойна: она уже не абсолютна. Все теперь устремляется к *αποκατάστασις τῶν πάντων* („восстановлению всяческих“), к полному восстановлению всего, что разрушается смертью, к осиянию всего космоса славой Божией, которая станет „все во всем“. Из этой полноты не будет исключена и свобода каждой личности, которой будет даровано божественным светом совершенное сознание своей немощи»<sup>180</sup>.

И не так уж и велики расхождения его с Карсавиным, но ясно, что Лосского интересуют вовсе не подробности воскрешения, а христологические проблемы, а Григорий Нисский упоминается им совсем по иному поводу. Такая позиция канонически более оправдана. Ведь и сам Карсавин не без сожаления вынужден был признать, что учение об апокатастасисе не было «признано точным выражением христианской истины. Оно даже косвенно оказалось опорочено в „оригенистских спорах“ и в канонах... подписанных патриархами»<sup>181</sup>.

<sup>178</sup> Там же. С. 24.

<sup>179</sup> Карсавин Л. П. Святые отцы и учителя церкви: Раскрытие православия в их творениях. М., 1994. С. 138-140.

<sup>180</sup> Лосский В. Н. Догматическое богословие // Очерк мистического богословия Восточной церкви. М., 1991. С. 286.

<sup>181</sup> Карсавин Л. П. Святые отцы. С. 138.

Почему же слова апостола Павла: «Последний же враг истребится – смерть», «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают...» (I Кор, 15–26, 29) и тексты Григория Нисского производят на двух авторов разное действие? Как мне представляется, в немалой степени потому, что Лосский – логик-богослов, а в Карсавине жив еще историк-профессионал. Но насколько по-новому могут звучать для нас теперь его слова о «оживании» и «восстановлении по частям»? Восстановление необходимо для полноты всеобщего, для конечной победы над смертью, для осуществления конца истории, и историку, похоже, отводилась в этом деянии особая роль.

Не берусь вторгаться в эту область, но смею предположить, что Лев Платонович, постоянно нарушавший правила игры, принятые у историков и философов, и в богословии оказался несколько удален от православной ортодоксии.

Другой мыслитель, отпавший от ортодоксии, но на сей раз – от католической, Пьер Тейяр де Шарден, начиная совершенно с иных исходных позиций, приходит к выводам, почти дословно совпадающим с карсавинскими. Можно спорить о том, насколько правомерно сближение его «пункта Омега» со Всеединством, но, столь же едко критикуя теорию прогресса, как и его ровесник Карсавин, французский мыслитель уверен, что отказ от восстановления индивидуальных сознаний будет означать фиаско эволюции: «Радикальный порок всех форм веры в прогресс, когда она выражается в позитивистских символах, в том, что они не устраняют окончательно смерти...»<sup>182</sup>

Если послушать учеников Маркса, то человечеству достаточно накапливать последовательные достижения, которые оставляет каждый из нас после смерти: наши идеи, открытия, творения искусств... Не является ли все это нетленное лучшей частью нашего существа? ... Но таким вкладом в общность мы передаем далеко не самое ценное. В самых благоприятных случаях нам удастся передать другим лишь тень себя. Наши творения? Но какое из человеческих творений имеет самое большое значение для коренных интересов жизни вообще, если не создание каждым из нас в себе абсолютно оригинального центра, в котором универсум осознает себя уникальным, неподражаемым образом, а именно нашего „я“, нашей личности? Более глубокий, чем все его лучи, сам фокус нашего сознания – вот то существенное, что должен вернуть себе Омега, чтобы действительно быть Омегой»<sup>183</sup>.

Роль двигателя на пути к Омеге отец Пьер отводит любви – «ключевой космической энергии». И ссылается он на любимого Карсавиным Николая Кузанского. Кстати, оба исследователя начинали свой путь с общего увлечения Анри Бергсоном.

Представляется, однако, немаловажным, что Тейяр де Шарден – палеонтолог с солидным стажем полевых работ. Родство его с Карсавиным в том, что оба начинали генерировать свои метафизические теории только после того, как долго трудились над восстановлением исчезнувших особей и индивидуумов по фрагментам.

Но помимо некоей внутренней логики творчества Карсавина, продиктованной его изначальной профессией, в его взглядах с легкостью можно обнаружить мощное влияние того самого «культурного фонда», расхожих идей, к изучению которых он сам и призывал в своих ранних работах.

Для русской культуры, в том числе и для культуры Серебряного века, оказалась чрезвычайно значимой идея, наиболее полно сформулированная в «Философии общего дела» Николая Федорова.

Легко было Карсавину и Тейяру де Шардену критиковать моральное несовершенство теории прогресса – ведь они занимались этим тогда, когда XX в. уже явил свой оскал. Федоров же пришел к этому в самый разгар позитивистского оптимизма, еще в 60–70-х гг. про-

---

<sup>182</sup> Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 210.

<sup>183</sup> Там же. С. 208.

шлого века: «Прогресс состоит в сознании сынами своего превосходства над отцами и в сознании живущими своего превосходства над умершими. Но в то же время он является сознанием своего полного ничтожества пред смертью, пред слепую, бесчувственную историей. Цель прогресса – развитая личность служит лишь еще большему разъединению людей... Подлинный прогресс требует воскрешения»<sup>184</sup>.

Для воскресения мертвых не нужно ждать конца времен. Оно должно стать результатом сознательной деятельности человечества, сплотившегося в этом единственно великом «Общем деле», где «все живущие должны быть историками, а все умершие – предметом истории, неотделимой от естествознания и естествоуправления. То будет всецельность, воскрешение и преобразование мира».

Естественная череда смертей нормальна, пока не пробудилось сознание. Но человеческое сознание начинает свое пробуждение с острого чувства своей индивидуальности и с глубокого страдания от утраты другого. Уничтожение человеческого «я», личности как неподменного и нерасторжимого духовно-телесного единства, наделенного уникальным самосознанием, ощущается человеком как трагическая катастрофа, ставящая под сомнение разумность всего порядка вещей<sup>185</sup>.

Казалось бы, в отличие от индивидуального человека бесконечное будущее человечеству как сущности, наделенной разумом и духом, гарантировано. Однако оказывается, что онтологическая судьба человечества в целом никак не может быть отделена от судьбы единичных людей. И, не решив проблемы их восстановления, человечество неизбежно погибнет в результате энтропии, всеобщего рассеивания.

Опираясь на Священное Писание и на патристику, на громадный пласт философского наследия и на естественно-научные данные, Федоров разрабатывал всесторонний план преобразования мира, рисуя вполне конкретные пути к реальному воскрешению, к размещению воскресших, к организации новой жизни в преображенном обществе. Самое удивительное, что большинство неразрешимых проблем материального плана, на которые указывали Федорову скептики, современной наукой вполне решаемы, если уже не разрешены.

Величие идей «Общего дела» зачаровывало Достоевского и Толстого, Владимира Соловьева; как к родному к нему отнеслись символисты, русские космисты, Вернадский, Чижевский, Циолковский, футуристы – и первый среди них Маяковский, и столь разные люди, как Андрей Платонов и Борис Пастернак. Этот список можно продолжать, подверстывая в него всё новые имена и деяния, вплоть до бальзамирования вождя мирового пролетариата.

В этой блестящей перспективе Петру Ивановичу Бобчинскому суждено было воскреснуть не под пером историка, не в конце времен, не в пункте Омега, а в самом скором будущем, в лаборатории генной инженерии под наблюдением доктора Збарского. Брр!

Но для нас важно другое. Федоров не просто всему роду человеческому сулил овладение профессией историка. Он и сам был «из наших», из практикующих историков. Начав с преподавания истории и географии в школе, он прославился как бессменный библиограф Румянцевского музея. Он был гениальным библиографом, лучшим не только в России, но, по всей видимости, и во всей Европе, намного опередив время в области науки о сохранении информации.

Продумывая целесообразную систему организации письменных памятников прошедшего и происходящего, расставляя тома, он задался целью увидеть живых людей, создавших эти книги, – гениев и бездарностей, талантов и посредственностей, умных и неумных, благородных и низких. Он планировал организовать работу библиотек календарным порядком по

<sup>184</sup> Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982. С. 81. Примечательно, что для борьбы с идеей прогресса Федоров ссылается на Ренана и даже на Огюста Конта.

<sup>185</sup> Семенова С. Николай Федоров: творчество жизни. М., 1990. С. 151-152.

дням смерти авторов «по принципу ежедневного поминовения». Он пропагандировал сухую науку библиографию и архивоведение: «Ведь что такое на деле библиография: в случае смерти автора на книгу должно смотреть как на останки, от сохранения коих как бы зависит самое возвращение к жизни автора... Представьте себе, что встали из гробов творцы, и каждый из них, указывая на свое сочинение, как бы демонстрируя его обложку, призывает всех к его прочтению и исследованию... Если хранилище книг сравнить с могилой, то чтение, или, точнее, исследование, будет выходом из могилы, а выставка – как бы воскресением»<sup>186</sup>.

Таким образом, «профессиональная компонента» в его учении была достаточно сильной. Но, как учил все тот же ранний Карсавин, значение выдающейся личности («типического человека», по его терминологии) в том и состоит, что он сказал то, что от него хотели услышать, выразил те идеи, которые были разлиты в обществе. Каждый, кто сталкивался с идеями Федорова, поражался их созвучности неким сокровенным своим чувствам. И действительно, идея обретения всеединства человечеством, любовно занятым Общим делом – рукотворным апокатастасисом, казалась укорененной в массах в не меньшей степени, чем другая часть апокалиптической программы – борьба со злом и построение рукотворного Тысячелетнего царства.

Приведу лишь один пример. В цикле рассказов Горького «По Руси» есть один, носящий характерное заглавие – «Кладбище». Именно там чудаковатый провинциальный поручик Савва Хорват сбивчиво увещевает молодого Пешкова: «Представьте, что каждый город, село, каждое скопление людей ведет запись делам своим. Так сказать – „Книгу живота“. И – пишется все. Все, что необходимо знать о человеке, который жил с нами и отошел от нас... Жизнь вся насквозь – великое дело незаметно – маленьких людей, не скрывайте их работу, покажите ее... Я хочу, молодой человек, чтобы ничто, достойное внимания, не исчезло из памяти людей. А в жизни – все достойно вашего внимания. И – моего! Жизнь недостаточно уплотнена, и каждый из нас чувствует себя без опоры в ней именно потому, сударь мой, что мы невнимательны к людям...»

Но что там пролетарский писатель, когда такие титаны, как Толстой и Достоевский, стремились завязать контакт с Федоровым – настолько высказанная им идея соответствовала тому, что они чувствовали и писали задолго до того, как прослышали о чудаковатом московском библиотекаре. В лице этих глыб сама классическая русская литература спешила засвидетельствовать свое почтение «Общему делу».

Вот и настала пора вернуться к Гоголю, огласившему сокровенное желание Петра Ивановича Бобчинского в самый, казалось бы, неподходящий для того момент. Все это не случайно. Ведь не пеньку, не ворвань, а именно мертвые души скупает Чичиков. Торжественно он извлекает их на свет Божий из заветной шкатулки: «Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особый характер, и через то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами... Реестр Собакевича поражаля необыкновенною полнотою и обстоятельностью, ни одно из качеств мужика не было пропущено; об одном было сказано: „хороший столяр“, к другому приписано: „дело смыслит и хмельного не берет“. Означено было также обстоятельно, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: „отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор“. Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: „Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на

---

<sup>186</sup> Семенова С. Николай Федоров: творчество жизни. С. 65-66.

веку своем? как перебивались?“ И глаза его невольно остановились на одной фамилии: это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке».

Далее следует незабываемая серия восстановлений жизненного пути Степана Пробки, Максима Телятникова, Елизавет Воробья и многих других.

Можно было бы вспомнить о начальных шагах Гоголя на историческом поприще и на этом основании счесть его еще одним «из наших», да совесть не позволяет. Дело в том, что воскресительный пафос неотделим от его писательского дара и той величественной задачи, которую он уже давно поставил перед собою. По мнению Абрама Терца, «его поэма – это купчая крепость, заключенная на освобождение человечества от смерти, на овладение миром с помощью слова. Жаль, сделка не состоялась...» И еще: «В Гоголе явлена забытая современной словесностью связь с изначальной магией, чем некогда промышляло искусство, чем долго оно оставалось и, быть может, еще остается где-то в глубине души по скрытой, внутренней сути, представленной так наглядно в творчестве Гоголя. В нем сильнее, чем в ком-либо, проступала темная память о волшебном значении ныне безвредных и никчемных процессов. Отчего и художник в нем без конца раздирался страхами и обязанностями потерявшего управление над своими чарами знахаря, действовавшего в условиях, когда его наваждения рассматривались всеми по классу эстетики и фантазии»<sup>187</sup>. И по классу истории, добавим мы *pro domo suo*. Впрочем, нельзя же во всем верить Терцу! Это, может быть, XIX в. забыл о связи слова, литературы и истории с магией, а XX в. о ней очень даже вспомнил. Но не спорить же сейчас о постмодернизме...

Возьмем новейший пример. Андрей Макин<sup>188</sup>, «писатель земли французской», описывает переживания отрока из глухого заволжского города, созерцающего трех красавиц с пожелтевшей газетной вырезки: «Вот тут-то мне на ум, вновь обратившийся к трем красавицам, пришла эта мысль. Я сказал себе: но ведь было же все-таки в их жизни это ясное, свежее осеннее утро. Эта аллея, усеянная опавшими листьями, где они остановились на какое-то мгновение и замерли перед объективом, остановив это мгновение... Да, было в их жизни одно яркое осеннее утро... Эти немногие слова совершили чудо. Ибо внезапно я всеми пятью чувствами ощутил мгновение, остановленное улыбкой трех женщин. Я очутился прямо в его осенних запахах. Ноздри мои трепетали... Да, я жил полно, насыщенно жил в их времени!»

Герой и дальше использует этот механизм: «Преображение трех красавиц позволяло надеяться, что чудо можно повторить. Я хорошо помнил ту простую фразу, которая его вызвала...» И он с успехом применяет этот прием, задумавшись после и о роли языка в «оживлении картин»... «Шарлота говорила по-французски. А могла бы и по-русски. Это ничего не отняло бы у воссозданного мгновения. Значит, существует что-то вроде языка-посредника. Универсальный язык! Я снова вспомнил о том межъязычье, которое открыл благодаря оговорке, о „языке удивления“. Тогда-то впервые мой ум пронизала мысль: а что, если на этом

---

<sup>187</sup> Ситяевский А. Д. (Абрам Терц). В тени Гоголя // Собрание сочинений. М., 1992. Т. 2. С. 290-291. См. показательное для нас название последней главы: «Мертвые воскресают. Вперед – к истокам!»

<sup>188</sup> В ту пору еще жива была память о сенсации, когда русский писатель Андрей Макин за свой роман «Французское завещание» (написанный по-французски) получил сразу две литературные премии – Гонкуровскую и Медичи. Вот здесь мне вновь придется извиняться. Я читал «Le Testament français» по-французски. Но русская цитата, равно как и некоторые мысли, взята мною из эссе Татьяны Толстой «Русский человек на randevu» (2000). Когда ты увлечен какой-то идеей, то подверстываешь под нее почти все, что читаешь в это время, в той или иной степени присваивая и приспособляя к себе чужие мысли. Никакой «Антиплагиат» меня в данном случае не поймал бы, но факт остается фактом – получается, что это я перевел пассаж Макина такими словами. Надо было написать: «Цит. по: Т. Н. Толстая...» Но я уже так перегрузил к тому времени сноски и текст уже настолько отходил от первого издания, что дополнительный «завиток» смотрелся бы совсем безвкусно. Все равно неудобно получилось. Увижу Татьяну Никитичну – извинюсь перед нею. – *Примеч. авт.*

языке можно писать? Я сел на пол и закрыл глаза. Я ощущал в себе вибрирующую вещественность всех этих жизней...»<sup>189</sup>

То ли доверчивые французы пленились экзотикой истин, для русских литераторов вполне банальных, то ли вспомнили, что о чем-то подобном писал некогда Марсель Пруст, но, во всяком случае, Макин собрал беспрецедентный урожай литературных премий, начиная с высшей Гонкуровской. Для нас же важно почти полное его совпадение с рассуждениями Карсавина о «вчувствовании» и «сопереживании» как о необходимых шагах на пути к постижению Всеединства.

Подведем итоги. Я не призываю историков гнаться ни за Гонкуровской премией, ни даже за Букеровской. Более того, ни в коем случае я не призываю их во всем следовать примеру Карсавина, Тейяра де Шардена и Федорова. Ведь стоило прекрасному историку Карсавину сформулировать свою метафизическую систему, как он покинул нашу науку. Талантливый палеонтолог, открывший синантропа, Тейяр де Шарден после публикации своего «Феномена человека» остаток времени потратил на споры с Римом. Румянцевская библиотека осиротела, как только гениальный библиограф Федоров сформулировал наконец свою «Философию общего дела», приступив к ее пропаганде. Нет, мы и так потеряли достаточно своих коллег, эмигрировавших в область чистой эпистемологии.

Но, быть может, приведенные примеры и рассуждения помогут нам лучше понять себя. Понять, что помимо историографической моды и внутренней логики науки существует еще и естественная тяга историка к оживлению прошлого<sup>190</sup>, уходящая в седую древность нашей профессии, в те времена, когда мы действительно еще не отделились не только от литературы или от богословия, но и от магии. И помнить, что желание откликнуться на призыв Петра Ивановича Бобчинского чревато серьезными последствиями, манящими перспективами и возможными потерями. Но в любом случае – это «основной инстинкт» историка.

## Послесловие автора

Впервые текст был опубликован в сборнике: Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999. С. 184–206. А вскоре – в очередном выпуске альманаха «Казус», с некоторыми дополнениями: «Казус-2000. Индивидуальное и уникальное в истории». Вып. 3. М., 2000. С. 15–32.

Уже «Историк в поиске» вызвал неоднозначную реакцию, но там «Апокатастасис» как-то терялся на фоне более ярких статей – манифеста М. А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!» и полемичной реплики Н. Е. Копосова «О невозможности микроистории». Когда же мой текст был в несколько более развернутом виде опубликован в альманахе «Казус», он вызвал отклики: критичный Л. М. Баткина, совсем-совсем критичный А. Л. Ястребицкой и достаточно доброжелательный Б. Е. Степанова. На что я написал ответ: «О невозможном и плодотворном» (Казус-2000. С. 118–124). К сожалению, сейчас мне пришлось отказаться от публикации материалов полемики – получить согласие авторов критических замечаний показалось трудной задачей, а издавать один лишь мой ответ было бы уж совсем нелепо. Помимо того что с материалами этой дискуссии можно ознакомиться на страницах альманаха «Казус», она

---

<sup>189</sup> Makine A. Le Testament Français. P., 1995. P. 168-169, 251.

<sup>190</sup> Тогда я еще не наткнулся на знаменитый пассаж Жюль Мишле о том, как он приходит в Национальный архив и начинает слышать ропот минувшего. «Эти бумаги были не бумагами, но жизнями людей, провинций, народов <...> все жили и разговаривали, они окружали автора стоязкой армией <...> Спокойнее, господа мертвецы, будем соблюдать очередь, пожалуйста. Все вы имеете право на историю. Индивидуальное хорошо как индивидуальное, общее – как общее <...>. И по мере того, как я вдыхал их пыль, я видел, как они пробуждаются. Они поднимали из могилы кто руку, кто голову, как в „Страшном суде“ Микеланджело или в „Пляске смерти“. Этот наэлектризованный хоровод, который они вели вокруг меня, я попытался воспроизвести в своей книге» (*Michelet J. Histoire de France, Livre IV // Œuvres complètes. P., 1974. Т. 4. P. 613–614.* – *Примеч. авт.*]

подверглась историографическому анализу: *Свешников А. В., Степанов Б. Е.* История одного классика: Лев Платонович Карсавин в постсоветской историографии // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 225–227.

А. Л. Ястребицкая очень на меня тогда обиделась за Карсавина, я же отвечал довольно-таки задиристо, впервые примерив на себя личину воинствующего историка-эмпирика. Милая Алла Львовна! Мы, конечно же, вскоре помирились, и она со свойственной ей непосредственностью спрашивала: «Паша, у тебя остался тот номер „Казуса“, где мы ругаемся?»

## Ю. Л. Бессмертный

### Многоликая история (проблема интеграции микро- и макроподходов)<sup>191</sup>

Осознанное или неосознанное сопоставление индивидом господствующих в окружающем его мире норм поведения с собственными интенциями – неотъемлемое свойство любого человека в любом социуме. Та или иная мера конфликта между принятыми в обществе нормами и личными устремлениями неизбежна едва ли не всюду. В разворачивании этого конфликта и его посильном преодолении содержится – в свернутом виде – вся история социализации человека<sup>192</sup>.

Естественно, что историки с давних пор интересовались как тем *единичным*, что характеризовало отдельного человека и его намерения, так и *массовым*, выразившим групповые стереотипы социальных агломераций. В этом смысле можно было бы сказать, что микро- и макроанализ прошлого стары как мир<sup>193</sup>. Иное дело – эпистемологическое осмысление их коллизии. Сравнение исследовательских процедур, лежащих в основе каждого из этих подходов, выявление их сходства и различия, уяснение обстоятельств преобладания того или иного из них в историографической практике разного времени и особенно обсуждение проблемы *соединимости* этих подходов – вот что отличает современные дискуссии о микро- и макроистории.

Чтобы говорить об этой центральной проблеме со знанием дела, следует вначале уяснить, чем, на взгляд современных историков, различаются два сопоставляемых подхода. Суждения по этому вопросу разных исследователей далеко не во всем совпадают. Различаются не только вербализуемые ими намерения; еще очевиднее разброс в реальном осмыслении микроистории и способах ее применения. Опираясь на весьма разросшуюся за последние годы историографию этого направления<sup>194</sup>, можно было бы констатировать следующее.

Чаще всего при определении сути микроистории вспоминают об относительно малой величине исследуемого объекта, позволяющей изучать его предельно интенсивно, со всеми возможными подробностями, во всех его возможных связях и взаимодействиях. Метафорически говорят также о «сужении» в микроистории «поля наблюдения», об использовании в ней микроскопа, об «уменьшении масштаба» анализа, обеспечивающего возможность разглядеть мельчайшие детали, о сокращении «фокусного расстояния» исследовательского объектива<sup>195</sup> и т. п. При всей образности этих характеристик, они, однако, не идут дальше описания некоторых внешних и, я бы сказал, *формальных* особенностей объекта микроистории и используемых в ней исследовательских приемов.

<sup>191</sup> Бессмертный Ю. Л. Многоликая история (Проблема интеграции микро- и макроподходов) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2000 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 3. М., 2000. С. 52–61.]

<sup>192</sup> Этот факт был замечен в науке по крайней мере со времен Анри Берра. С тех пор проблема «присвоения» отдельным человеком надындивидуального опыта не перестает волновать историков. Одна из наиболее серьезных попыток решения этой проблемы принадлежит Норберту Элиасу. Из числа более новых работ упомяну: *Chartier R. Intellectual History and History of Mentalities // Modern European Intellectual History. L., 1982; Burgiere A. La notion de «mentalités» chez Marc Bloch et Lucien Febvre: deux conceptions, deux filiations // Revue de Synthèse. 1983. Vol. 104. № 111–112; Jeux d' échelles. La micro-analyse à l' expérience / Sous la dir. J. Revel. P., 1996.*

<sup>193</sup> См. об этом: *Oexle O. G. Nach dem Streit. Anmerkungen über «Makro-» und «Mikrohistorie» // Rechtshistorisches Journal. Frankfurt a. M., 1995. № 14.* Не случайно Клиффорд Гирц писал, что микроанализ – это то, чем занимается любой историк-практик.

<sup>194</sup> Помимо материалов, опубликованных в сборнике «Историк в поиске: микро- и макроподходы к изучению прошлого» (М., 1999), см.: *Mikrogeschichte – Makrogeschichte: komplementär oder inkommensurabel? / Hrsg. von J. Schlumbohm. Göttingen, 1998.*

<sup>195</sup> См. работы Б. Лепти, Ж. Ревеля, Ж. Фабиани, Г. С. Джонса и др., рассмотренные в материалах названного выше сборника «Историк в поиске...».



Более содержательны те определения данного подхода, в которых о нем говорится как об «истории в малом» (а не «истории малого»), или же как об истории *индивидуального опыта* конкретных участников исторических процессов (а не истории «*условий их деятельности*»), или же как об истории «нормальных исключений», а не одной только истории наиболее типичного<sup>196</sup>. Однако и в этих определениях нет эксплицитного обоснования *эпистемологической* потребности в микроанализе как в особом ракурсе исторического познания.

Может быть, правы те, кто вообще не видит в микроистории ничего, кроме набора более или менее тривиальных исследовательских приемов? В самом деле, открывает ли микроистория какие-либо новые возможности познания прошлого?

Обсуждая этот вопрос, я должен коснуться некоторых конститутивных особенностей предмета исторического исследования и истории как таковой, особенностей, все чаще привлекающих внимание специалистов в последнее время<sup>197</sup>. Человеческое общество – не просто очень сложная система. Она принадлежит к особому классу так называемых открытых систем. Все входящие в общество индивиды в той или иной мере обладают возможностью действий, которые нельзя смоделировать ни исходя из их собственной оценки ситуации, ни вообще из какого бы то ни было набора рациональных мотивов<sup>198</sup>. Естественно, что даже в полностью идентичных социальных условиях не удастся обнаружить идентичности поведения индивидов; и наоборот, идентичное поведение индивидов не обязательно предполагает тождественность его общих социальных предпосылок<sup>199</sup>. Наиболее непосредственно это связано с исключительной вариативностью внутренней организации каждого индивида, изменчивостью его психофизических черт, бесконечным многообразием его жизненных обстоятельств<sup>200</sup>. Исследователи констатируют, что поведение членов любого человеческого сообщества не подчиняется единообразной утилитарности по принципу: «стимул – реакция»<sup>201</sup>. Перед каждым человеком открыт больший или меньший «зазор свободы» действий. В более общем плане все это выражает одну из тех особенностей человеческих обществ, которая все чаще привлекает в последнее время внимание философов и социологов и которая предполагает, что ни одно из них нельзя мыслить как вполне интегрированную систему<sup>202</sup>.

Речь идет о том, что система межличностных отношений, особенно в доиндустриальное время, оказывается как бы недостаточно упорядоченной (условно говоря, «недостаточно системной»). Ее элементы и соединяющие их связи отличаются особой лабильностью. Мало

<sup>196</sup> Это особенно характерно для подходов Дж. Леви, Э. Гренди, К. Гинзбурга, Х. Медика, К. Пони. Заслуживает также особого внимания статья: *Ginzburg C. Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice // Le Débat. 1980. № 5. P. 3–44* [рус. пер.: *Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. Сб. статей. М., 2004. С. 189–241*].

<sup>197</sup> Речь идет об особенностях истории как одной из социальных наук. Имея некоторые общие с ними черты, история, однако, отличается своей спецификой, которая до сих пор учитывалась недостаточно.

<sup>198</sup> *Берталяни Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории систем. М., 1969. С. 74*: «...человеческому поведению существенно не хватает рациональности». Автор этой работы, один из признанных классиков системного анализа, специально анализирует здесь своеобразие общественных структур и особенности их функционирования и приходит к выводу о необходимости признать их конститутивную специфику по сравнению со всеми известными структурами и системами.

<sup>199</sup> *Rosental P.-A. Construire le «macro» par le «micro» // Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience. P., 1996. P. 145*; ср.: *Barth F. Models of Social Organisation // Barth F. Process and Form in Social Life. L., 1981. Vol. I. P. 34–35*.

<sup>200</sup> *Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая // Тезис. 1993. № 1. С. 161*.

<sup>201</sup> *Берталяни Л. фон. Общая теория систем. С. 65*.

<sup>202</sup> Об этом особенно подробно говорит Фредерик Барт (*Barth F. Process. P. 30–40*). В самое последнее время специалисты в разных областях констатируют необходимость пересмотреть представления о понимании системности вообще. Подчеркивается, что большая или меньшая хаотичность свойственна всем явлениям природы и общества, что даже в строго детерминированных системах имеются элементы «хаоса», что «мы в принципе не можем дать „долгосрочный прогноз“ поведения огромного числа даже сравнительно простых механических, физических, химических и экологических систем. Можно предположить, что предсказуемое на малых и не предсказуемое на больших временах поведение характерно для многих объектов, которые изучают экономика, психология и социология» (*Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 23 и след.*).

того, они допускают существование в рамках системы не подчиняющихся ей феноменов: внутри системы обнаруживаются, так сказать, «разъемы», в которых могут существовать «чужеродные», выламывающиеся из нее элементы. Соответственно, процессы исторического развития выступают как отличающиеся дискретностью, прерывностью, облегчающими появление «незапрограммированных» ситуаций и казусов<sup>203</sup>.

Ставя под сомнение гомогенность структуры межличностных отношений, все это мешает рассматривать их как нечто внутренне цельное, доступное однолинейному видению. Приходится постоянно принимать во внимание, что, с одной стороны, эти отношения – функция больших структур, охватывающих всех участников этих отношений, а с другой – что ни одна из таких структур не «поглощает» действующих в них индивидов полностью, оставляя место для проявления ими субъективного, частного, личного. Иными словами, воздействие на каждого индивида со стороны социальной группы и со стороны его собственной субъективности имеет разную природу и реализуется как бы в разных «регистрах».

Своеобразная разорванность этих воздействий, их сущностные различия делают невозможным их осмысление с помощью одних и тех же приемов. Макроанализ, необходимый для понимания функций и влияния больших структур, неприменим для уяснения роли личностных особенностей отдельных персонажей. Наоборот, микроанализ непригоден при изучении роли больших структур и повторяющихся процессов. Недооценивать какой бы то ни было из этих двух аспектов познания прошлого не приходится. Без внимания к макроструктурам немыслимо рассмотрение прошлого. Ведь как бы мы ни пытались замкнуться в рамках любого индивидуального казуса, всякая попытка его осмысления потребует как-то «соизмерить» его с окружающим миром и с аналогичными или, наоборот, отличными от него социальными явлениями. Иными словами, необходим некоторый понятийный инструментарий, позволяющий «подняться» над данным индивидуальным казусом. Этого можно достичь только на основе осознанного (или неосознанного) обращения к массовому материалу, то есть с учетом некоторой исторической глобальности. Любая попытка замкнуться в изолированном, «микроисторическом» изучении отдельных казусов означала бы конец истории как способа осмысления прошлого.

Но для историка столь же (если не более) значима и обратная установка: посылить уразуметь (осмыслить) глобальное можно только с учетом того, что в истории оно реализуется лишь в индивидуальном. Ведь историк имеет дело с живыми людьми, и без уяснения их сознательного (или объективно складывающегося) вмешательства в ход событий – «вмешательства», которое реализуется в ходе действий *индивидов*, – осмыслить прошлое не представляется возможным. И дело не только в способности конкретных индивидов, участвующих в событиях и процессах, наложить на них свой отпечаток и придать, казалось бы, однородным историческим явлениям большую или меньшую непохожесть. Своеобразие истории и ее отличие, например, от социологии – как раз в сосредоточении на формах реальной социальной *практики* прошлого, а не в выявлении имевших место в прошлом *теоретических возможностей* общественного развития. Между тем эта социальная практика раскрывается отнюдь не только через массовое и повторяющееся. Нередко ее смысл выявляется ярче всего именно через уникальное и индивидуальное<sup>204</sup>. Нельзя забывать, что стержнем любого сообщества одухотворенных существ выступает его культурная уникальность<sup>205</sup>. Ее не понять, если интересоваться только

<sup>203</sup> Естественно, что это предполагает понимание исторического времени как «неоднородного», протекающего «неравномерно» в разные периоды и в разных отсеках системы (Катица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика. С. 53; Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: в поисках утраченного. М., 1997. Гл. 5).

<sup>204</sup> В упоминавшейся выше статье К. Гинзбурга убедительно показана исключительная познавательная важность отдельной детали, отдельного признака (*l'indice*) для рационального – или интуитивного – понимания исследуемого в истории предмета (Ginzburg C. Signes. P. 4).

<sup>205</sup> Баткин Л. М. Леонардо да Винчи. М., 1990. С. 22.

массовым и повторяющимся<sup>206</sup>. К тому же, поскольку помыслы и поступки человека зависят не только от рационального начала, их осмысление историком нуждается в проникновении во всю сложность внутреннего мира каждого из исследуемых героев. Только при таком проникновении можно приблизиться к раскрытию сложных, не всегда осознаваемых самим человеком импульсов его действий. Необходимо, следовательно, специальное внимание к персональным отличиям каждого действующего лица истории<sup>207</sup>.

Все это заставляет видеть в микроанализе незаменимый познавательный инструмент. *Только с его помощью можно рассмотреть, как возможности общественного развития реализовывались в действиях конкретных персонажей, как и почему эти персонажи выбирали из всех возможных свою собственную «стратегию» поведения и почему отдавали предпочтение тем или иным решениям* (в том числе и таким, которые порой выглядят безумными, на взгляд нашего современника)<sup>208</sup>. При охарактеризованном выше понимании сути исторического познания и его объекта микроистория выступает как непреодолимая потребность, как насущная эпистемологическая необходимость, как незаменимый ракурс исторического анализа для понимания не только девиантных (или уникальных) ситуаций, но и всякого конкретного казуса, всегда окрашенного индивидуальностью его участников. И именно микроистория способна выявить зреющие подспудно интенции индивидуального поведения, чреватые изменением сложившихся стереотипов.

С особой силой микроистория востребуется сегодня. Лишь отчасти это связано с острой критикой чрезмерного крена в макроисторию в недавнем прошлом. Не стоит, кроме того, забывать об особой озабоченности нашего современника драматическим противостоянием общества (и всей связанной с ним системы массовых стереотипов) и отдельно взятого индивида. Эта озабоченность неизбежно порождает жажду современного человека понять, как вообще могут согласовываться массовое и индивидуальное и в какой мере история зависит от решений, принимаемых каждым из нас<sup>209</sup>.

Возвращаясь таким образом к центральной для нас проблеме интеграции микро- и макроподходов в историю, следует иметь в виду уже не раз высказывавшееся суждение о логической трудности в ее разрешении. По мнению ряда исследователей, полному и последовательному совмещению этих двух подходов препятствует «принципиальное противоречие между жизнью как объектом познания и наукой как средством познания»<sup>210</sup>. Это противоречие обу-

<sup>206</sup> В той или иной степени это касается не только социальных объектов: синергетический способ обработки информации предполагает особую эффективность тех его приемов, которые позволяют уяснить уникальные черты каждого из информационных массивов (Катица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика. С. 34).

<sup>207</sup> Я не касаюсь здесь вопроса о том, насколько реально такое изучение исторических персонажей для разных периодов прошлого. Ясно, что найти подробные данные о людях далекого прошлого очень непросто. Надо ли, однако, напоминать, что возможность «разговорить» источники зависит не только от них самих, но и от интеллектуальной активности исследователя?

<sup>208</sup> Об этом свидетельствует уже накопленный в историографии материал. См., в частности, помимо статей в нашем альманахе «Казус», проанализированные в сборнике «Историк в поиске» работы Ч. Фитьян-Адамса, К. Гирца, С. Черутти, К. Байнум, Х. Медика и мн. др.

<sup>209</sup> О том, что ряд современных историков-профессионалов считают необходимым откликнуться на эти научные и общественные запросы, известно из ряда их высказываний. Так, итальянский историк Дж. Леви, отмечая важность «субъективистской» составляющей исторического прошлого, пишет, что «микроистория не намерена жертвовать познанием индивидуального ради обобщения: более того, в центре ее интересов – поступки личностей или единичные события <...> Перед микроисторией стоит альтернатива: принести в жертву индивидуальное ради обобщения или – наоборот – застыть перед неповторимостью индивидуального» (Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей истории: Материалы из цикла семинаров при поддержке Democasy Programme. М., 1996. С. 184). Леви, как и ряд других исследователей (Б. Лепти, Ж. Ревель, Ч. Фитьян-Адамс, С. Черутти, К. Гинзбург), хотел бы найти «парадигму, в центре которой было бы такое познание индивидуального, которое не отбрасывало бы формальное описание и научное познание даже индивидуального» [Там же. Курсив Ю. Л. Б. Ю. Л. Б. – Примеч. О. Ю. Бессмертной].

<sup>210</sup> Кнабе Г. С. Общественно-историческое познание второй половины XX века и наука о культуре // Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 161; см. аналогично: Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные методы преподавания. С. 220–221; Lepetit B. Le Présent de l'histoire // Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale / Sous la dir. B. Lepetit. P., 1995. P. 280; Kracauer S. History: The Last Things

словливает различия макроистории и микроистории в предмете и в типе анализа. Первая рассматривает «познаваемые объекты в их ряду» (и повторяемости) и потому «позволяет выделить объединяющую их закономерность». Вторая исследует «индивида в его неповторимости», «человека во всей бесконечности его связей с окружающими», «среду обитания и культуру в их непрестанной изменчивости», иными словами, «жизнь как она есть»; здесь нет места закономерностям<sup>211</sup>. Анализ этой сферы должен соответственно строиться на принципиально иных основаниях. Он не может быть растворен в макроанализе. Микро- и макроподходы противостоят поэтому друг другу как два противоположных полюса классической апории. С этой точки зрения исследователь прошлого, который пытается сочленить микро- и макроанализ, заведомо вынужден пожертвовать строгостью научного анализа как такового и может лишь «нащупывать» компромиссные пути сближения несоединимых по существу полюсов апории<sup>212</sup>.

Остроту противоречия между двумя рассматриваемыми подходами действительно нельзя преуменьшать. На мой взгляд, поиски выхода именно из этого противоречия лежат в подоснове методологических и эпистемологических исканий историков в течение ряда последних десятилетий. Один из вариантов такого выхода был предложен сторонниками постмодернизма; они нашли его в подчинении исторического познания дискурсивному анализу. В самом деле, если изучение конкретной практики в принципе не поддается объективному исследованию, то почему не признать оправданность ее рассмотрения хотя бы на базе *субъективного* осмысления? (Именно таковое и лежит, как известно, в основе постулируемого в постмодернизме приоритета за исследованием текстовых интерпретаций.)

Другой вариант преодоления отмеченного противоречия привел к тенденции, прямо противоположной по своей направленности постмодернизму. Имею в виду тенденцию к ограничению поля исторического исследования *отдельными* обособленными фрагментами, которые зато рассматриваются как поддающиеся *объективному* воспроизведению. В этом случае – в противоположность постмодернизму – приоритет отдается верифицируемому варианту научного поиска, но при отказе от распространения полученных выводов на какой бы то ни было макрообъект. Трудно не заметить некоторого сходства данной тенденции с позитивистской установкой на выяснение того, «как это было на самом деле» (хотя и лишь в одном отдельно взятом случае)<sup>213</sup>. Предполагаемый этой тенденцией подход имеет известное сходство и с микроанализом, когда его рассматривают в качестве обособленного и самодостаточного метода, вне какого бы то ни было соотношения с макроанализом<sup>214</sup>.

before the Last. L., 1969. P. 104–138.

<sup>211</sup> Кнабе Г. С. Общественно-историческое познание. С. 161–163; кроме приведенных в предыдущем примечании высказываний об этой апории К. Гинзбурга, З. Кракауэра и Б. Лепти, см. также цитируемое С. Г. Ким (Современная немецкая историография о возможностях микро- и макроанализа // Историк в поиске. С. 80) замечание Ю. Кокки: индивидуальный опыт не детерминирован структурами или процессами и потому, по мысли этого автора, не может быть предметом строгого научного анализа (Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie / Hrsg. von W. Schulze. Göttingen, 1994. S. 34 ff.).

<sup>212</sup> По мнению З. Кракауэра, лучше всего это удавалось Марку Блоку в его «Société féodale» с помощью «постоянного лавирования» между микро- и макроисторией, лавирования, которое «все время ставит под сомнение общее видение исторического процесса из-за встречающихся исключений и причин краткосрочного действия»; иные варианты посильного преодоления этой апории предлагает в цитированной работе Г. С. Кнабе (Общественно-историческое познание. С. 165–168).

<sup>213</sup> О позитивистском ингредиенте в микроистории этого толка см.: Fabiani J. L. Compte rendu // Annales. E. S. C. 1998. № 2. P. 444; Леви Дж. К вопросу о микроистории. С. 168.

<sup>214</sup> При публикации данной статьи в «Казусе-2000» Ю. Л. снял замечание, присутствовавшее здесь в предшествовавшем статье тексте доклада по следам конференции «Микро- и макроподходы к изучению прошлого», тогда казавшееся уже очевидным, но сегодня представляющееся важным, подчеркивающим его стремление избежать так называемой фрагментации истории (здесь скрытая ссылка на книгу Dosse F. L'histoire en miettes: des «Annales» à la «nouvelle histoire». P., 1987): «Что сулит и чем грозит сосредоточение историка на изучении обособленных фрагментов („осколков“) прошлого, подробно рассматривалось в ходе дискуссии по статье М. А. Бойцова „Вперед, к Геродоту!“ <...>. Не возвращаясь к этой теме, остановлюсь на предложенных в самое последнее время компромиссных вариантах совмещения микро- и макроанализа». Бессмертный Ю. Л. Проблема интеграции микро- и макроподходов // Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999. С. 296. – Примеч. О. Ю. Бессмертной.]

Как видим, все упирается в то, как совместить микро- и макроанализ. Среди попыток решения этого вопроса некоторые, предложенные в самое последнее время, носят явно компромиссный характер. Многим исследователям такое совмещение мыслится достигнутым уже там, где анализ отдельных микрообъектов высвечивает (или *иллюстрирует*) некое типичное явление, то есть там, где он используется как способ увидеть «частные модуляции» общих процессов<sup>215</sup>. Исследования этого типа достаточно широко встречаются и в среде отечественных историков, и в Германии, и в англоязычных странах<sup>216</sup>. С. Г. Ким назвала исследовательские опыты такого рода «поисками золотой середины» между моделями макро- и микроистории, нацеленными на то, чтобы «увязать воедино развитие глобальных общественных структур и обыденной деятельности человека»<sup>217</sup>.

Полезность такого анализа трудно оспорить. Он делает макроисторические явления гораздо более зримыми, выявляет их бесконечную вариативность, свидетельствует о способности индивида наложить свой отпечаток на все, в чем он участвует.

Вряд ли, однако, можно не заметить, что во всех таких исследованиях речь идет об анализе не столько «малых единиц» как таковых, сколько отдельных вариантов *макроисторических* процессов. Между тем, как отмечалось выше, потребность в микроанализе определяется не только (и не столько) его иллюстративными возможностями. Он – средство осмыслить то индивидуальное и уникальное, что не вмещается в массовое и повторяющееся. С этой точки зрения *достичь подлинной (сущностной) интеграции микро- и макроподходов к прошлому – значит найти способ перехода от наблюдений над отдельными и уникальными казусами к суждениям, значимым для той или иной исторической глобальности*. Найдена ли процедура такого перехода?..

Как констатируется в ряде современных исследований, неясна не только такая процедура, но и способ (и логика) ее поиска<sup>218</sup>. Есть немало сомнений и в том, мыслима ли вообще для прошлого (или хотя бы какого-либо его этапа) *единая* логика взаимодействия общества и отдельного субъекта. Быть может, нет и единого рецепта интеграции микро- и макроподходов?..

Мне представляется, что – несмотря на все трудности – некоторые самые общие принципы решения этой задачи можно в предварительном порядке наметить. Надежды на успех сулит, на мой взгляд, подход, при котором были бы приняты во внимание отмеченные выше особенности как объекта, так и методов исторического познания. Вспомним о неполной интегрированности изучаемых в истории общественных систем; примем во внимание отмеченную выше необходимость для историка параллельно использовать разные по своей сути способы осмысления прошлого: одни – когда исследуются большие структуры, другие – когда речь идет об уникальном выборе отдельных персонажей. *Нельзя ли предположить, что целокупное – и по-своему интегрированное – видение прошлого может быть только «двухслойным», двуединым, основывающимся на сосуществовании двух дополняющих друг друга вариантов?*

Неслиянность этих двух форм видения не противоречит возможности их своеобразной интеграции. Конечно, это не физическая (и не механистическая) интеграция. Речь идет о мысленной конструкции. Формирование ее целостности может быть отчасти уподоблено тому, как

<sup>215</sup> Так, по мнению, например, Ж. Ревеля, «опыт индивида или группы» может выражать «частную модуляцию глобальной истории» (*Revel J. Micro-analyse et construction du social // Jeux d' échelles*. P., 1996. P. 30).

<sup>216</sup> В числе примеров отечественных исследований этого рода можно было бы, в частности, назвать статьи Ю. П. Малинина, Л. А. Пименовой, О. В. Дмитриевой в альманахе «Казус-1996». Ряд исследований этого типа рассматриваются в докладах С. Г. Ким и Л. П. Репиной, опубликованных в сборнике «Историк в поиске».

<sup>217</sup> Ким С. Г. Современная немецкая историография. С. 68, 86.

<sup>218</sup> Помимо обсуждения этой проблемы в публикуемой выше статье Н. Е. Копосова [*Копосов Н. Е. О невозможности микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2000 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 3. М., 2000. С. 33–51*], см. также: *Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte*. S. 19–20; *Schwinn Th. Max Webers Konzeption des Mikro-Makro-Problems // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. Köln, 1993, S. 220–237.

формируется целостность нашего зрения, складывающегося, как известно, из двух самостоятельных картинок, одна из которых поступает в зрительный центр нашего мозга от правого глаза, а другая от левого. Вполне адекватного представления о целом не дает ни одна из этих двух картин. Другое дело – их *наложение* друг на друга. Только мир, увиденный обоими глазами сразу, воспринимается нами как целостный и единый.

Не в том ли состоит и задача историка, который хотел бы увидеть прошлое во всей его сложности, во всей напряженности столкновений стереотипного и индивидуального? Не должен ли и он «*смотреть в оба*», чтобы осмыслить, с одной стороны, макрофеномены (в том числе стереотипы), с другой – микромир, включающий не только индивидуализированное воплощение тех же стереотипов, но и не подчиняющиеся стереотипам уникальные поведенческие феномены? Осуществляя эту процедуру, исследователь реализует упомянутый только что принцип дополнительности, который предполагает особую форму соединения микро- и макропроекций прошлого (вне их механического слияния)<sup>219</sup>.

Взятая отдельно, каждая из этих проекций будет, очевидно, беднее их специфического соединения. Наоборот, возможность их интегрированного видения открывает исключительно важные познавательные перспективы. Не закрывая глаза на логическую обособленность познавательных процедур, востребуемых каждой из этих проекций, историк в то же время оказывается в состоянии и учесть черты глобальности, и «схватить» «жизнь как она есть» в тот или иной *отдельный* момент и в связи этого момента с *предыдущими и последующими*.

---

<sup>219</sup> Такого рода сочетание исследовательских подходов отчасти напоминает сочетание некоторых форм получения информации в квантовой механике, открытое в 1927 г. физиком Нильсом Бором и названное им «принципом дополнительности». Идея применения «своего рода *дополнительности*» к исследовательским методам в истории уже была в другой связи высказана М. М. Бахтиным и Л. М. Баткиным. Используя эту идею, я решил бы трактовать соотношение микро- и макроистории в сходном ключе и констатировать, что, *хотя коллизия между данными подходами не может быть преодолена, они соединены друг с другом по принципу дополнительности*.

## Часть 2

### Казусы в поведении, праве и политике на западе и востоке Европы в IX–XX вв

**Н. Ф. Усков**  
**Убить монаха...** <sup>220</sup>

Некогда этот странный порыв – убить монаха – увлек именитого итальянского медиевиста на путь сочинительства. Позднее ему приходилось оправдываться и говорить, что «всякий роман рождается от подобных мыслей», а «остальная мякоть наращивается сама собой»<sup>221</sup>. Описываемые в этой статье события, случившиеся около 12 веков назад в обители св. Галла, расположенной в предгорьях ретийских Альп, наверное, напомнят читателю перипетии знаменитого романа Умберто Эко. Загадочная смерть. Самоубийство? Козни дьявола? Борьба честолюбий. Пожар, испепеливший Аббатство. Подобно герою романа, нам придется удивляться и недоумевать: «Монахи застыли на местах: шестьдесят фигур, одинаковых под одинаковыми рясами и куколями... шестьдесят голосов, истово восхваляющих Всевышнего. И изнывая в их дивном созвучии, как в преддверии райских усад, я спрашивал себя, возможно ли, чтобы в обители находилось место сомнительным тайнам, незаконным попыткам раскрыть их и жуткому запугиванию. Ибо мне аббатство представилось в тот миг собранием святейших, убежищем добродетели, ковчегом мудрости, кладезью здравого смысла, поместилищем кротости, оплотом твердости, кадилом святости»<sup>222</sup>.

Недоумение и удивление у нас, как и у героя романа, вызывает очевидное несоответствие таинственных и мрачных событий образу благого монашеского братства, представлению о святости избранного им пути. То несоответствие, которое сообщает всей истории остроту и колоритность. Мог ли Умберто Эко избавиться от искушения «убить монаха», а вместе с ним отказаться от столь интригующей завязки сюжета? И мы, покорные тому же искушению, но отправляясь в другое Аббатство, по крайней мере уверены, что нас ожидает нечто необычное, а значит, отвечающее одной из предварительных характеристик «казуса» как события нестандартного, парадоксального. «Остальная мякоть» нарастет сама собой.

---

<sup>220</sup> Усков Н. Ф. Убить монаха... // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1999 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. Вып. 2. М., 1999. С. 199–235.]

<sup>221</sup> Эко У. Разумеется, средневековье // Эко У. Имя розы. М., 1989. С. 434.

<sup>222</sup> Там же. С. 84.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.